

ЗАПИСКИ
АКТЕРА
ЩЕШКИНА

ПРЕДИСЛОВИЕ, ПРИМЕЧАНИЯ
И СТАТЬЯ А. Б. ДЕРМАНА



Государственное Издательство
« ИСКУССТВО »
Москва. 1938

ПРЕДИСЛОВИЕ

На юбилейном торжестве в честь Щепкина по случаю его полувековой деятельности было оглашено приветствие от отсутствовавшего по болезни С. Т. Аксакова, где, между прочим, было сказано: «Чрезвычайно было бы любопытно и интересно проследить постепенно, как уяснялся взгляд молодого актера, как зарождалось понимание лиц, им представляемых, как блеснула и разгоралась мысль об истине, естественности игры, и как он понял, наконец, что сцена — искусство, что он — художник!.. Но этого никто не может сделать, кроме самого Щепкина, и на нем лежит долг написать историю своего театрального поприща, чем он окажет великую услугу не только театральному искусству, его служителям и почитателям, но и всякому мыслящему человеку, для которого дороги проявления, усилия и торжество духа человеческого над всеми препятствиями и случайностями жизни».

Несомненно, что в данном случае Аксаков был выразителем единодушного мнения всех тех, кому доводилось слышать из уст великого актера рассказы о впечатлениях его удивительной жизни. Близкие к Щепкину писатели не могли

не сознавать, как важно сохранить для будущих времен весь громадный капитал наблюдений мастера, знавшего Россию, как сам он определял, «от дворца до лакейской», какую ценность должна бы иметь автобиография театрального реформатора, прошедшего длинный, сложный, причудливый и славный путь от крепостного мальчика и графского официанта до сценического властителя дум и чувств, актера-чародея, как его называли.

Действительно именно усилиям друзей Щепкина мы и обязаны существованием его «Записок». И бесконечно характерно, что решительный шаг к тому, чтобы понудить Михаила Семеновича приняться за эту работу, сделал Пушкин, любивший, как и все, кому доводилось их слышать, устные рассказы Щепкина, но обладавший при этом великой активностью натуры. Первый лист «Записок» открывается следующими словами, собственноручно написанными великим поэтом:

ЗАПИСКИ АКТЕРА ЩЕПКИНА

17 мая 1836, Москва

Я родился в Курской Губернии Обоянского уезда в селе Красном, что на реке Пенке.

От этих слов Щепкин в дальнейшем и повел свои «Записки». Надобно заметить, что и сам он, при всей своей скромности, придавал им серьезное значение. В мае 1847 года в письме к Гоголю он говорит: «Мне нужно видеть заграничные театры, очень нужно; незнание языка меня не пугает, главное я пойму, а оно необходимо мне для моих записок, в конце которых хочу изложить свой взгляд на искусство драматическое вообще и в чем состоит особенность каждого театра в Европе в настоящее время. Это будет окончательным делом моей практической деятельности»

Таким образом, как будто были налицо необходимые условия для успешного завершения этого труда: единодушная поддержка друзей,—и каких!—Пушкина, Герцена, Белинского, Гоголя, Аксакова; собственное сознание необходимости предпринятого дела. Было и время: от положенного Пушкиным начала «Записок» до конца жизни актера протекло двадцать семь лет.

Но были два обстоятельства, тормозивших работу Щепкина в этом направлении. Во-первых, он был «не мастер и не охотник писать», как сам он признался в одном своем (неизданном) письме к сыну Александру. Главное же, буквально все свое время он отдавал главному делу своей жизни—театру, сцене, причем, вопреки тому, что мы обычно наблюдаем, чем старше он становился, тем больше времени поглощала у него сцена, потому что физические силы его убывали, а требования, которые он предъявлял к себе как к актеру, напротив, возрастали.

Результат этих противоречий для «Записок» был таков: занимаясь ими (разумеется, с большими перерывами) почти до самой смерти, Щепкин успел их довести, да и то без строго хронологической последовательности, только до момента своего выкупа из крепостного состояния. Таким образом, весь блестящий период творческой деятельности Щепкина, вся его работа в Москве в «Записках» осталась не отраженной.

Учитывая это обстоятельство, в прилагаемом к «Запискам» специальном очерке поставлена цель на основании имеющихся материалов пополнить наиболее существенные пробелы «Записок» таким образом, чтобы перед читателем прошли хотя бы все главнейшие периоды (если уж не все главнейшие события) жизни Щепкина.

А. Дерман

ЗАПИСКИ АКТЕРА
ЩЕПКИНА





[I. ПЕРВЫЕ ГОДЫ ДЕТСТВА]

17 мая, 1836, Москва

Я родился в Курской Губернии Обоянского уезда в селе Красном, что на речке Пенке¹, в 1788 году ноября 6 числа. Отец мой Семен Григорьевич был крепостной человек графа Волькенштейна, но дед мой был сын священника Иоанна, который священствовал в Калужской губернии Мосальского уезда, в селе Спасе, что на речке Перекше, и потом скончался иеромонахом в Москве, в Андроньеве монастыре, где и прах его поживает; правнук же его и теперь еще священствует в селе Спасе. Это не должно казаться странным, ибо в том веке делалось это часто, так что дед мой не слишком удивился, когда, заснув свободным, проснулся крепостным, а только немного погрузился — и то, разумеется, безотчетно; наконец, совер-

шенно привык к новому своему званию². Мать моя Марья Тимофеевна была также из крепостных, пришедшая в приданое за графиней: так уж издавна велось и теперь продолжается, что камердинер молодого господина женится всегда на сенной девушке молодой барыни. Оба они были любимы своими господами, и оба вполне заслуживали такую любовь, ибо они принадлежали к числу тех слуг, каких в наше время уже не встречаешь. Граф и графиня были примерной доброты, хотя оба как люди имели свои недостатки; но эти недостатки так были мелочны, что для людей, им подвластных, при тогдашних обстоятельствах и образе мыслей, не могли быть чувствительны³. Отец мой пользовался неограниченной доверенностью графа, а мать — графини.

В первых годах супружества своего родители мои были не слишком счастливы — не семейным несогласием, нет, в этом отношении они были совершенно счастливы, хотя, может быть, и не чувствовали друг к другу любви пылкой и страстной: они жили просто, не рассуждая, жили дружно, мирно и потому счастливо. Но двое первых детей, сын и дочь, родившиеся в первые два года супружества, умерли один за другим, не дав им, как говорят, налюбоваться на себя; вот одно, что заставляло их иногда грустить и задумываться, причем и господа по любви своей к ним, а более по природной доброте, с душевным участием делили их горе. Наконец, мать моя сделалась бере-

менна мною; следуя совету старых людей, которые придерживались предрассудков, родители мои положили: ежели бог даст благополучно родить — взять встречных кума и куму, несмотря на то, что первых детей крестил который-нибудь из господ. А потому, когда благополучно явился я на белый свет, крестный отец мой был пьяный лакей, а (крестная) мать — повариха.

Родители мои, кажется, были совершенно счастливы; однакоже, несмотря на встречных кумовьев, повивальная бабка (которая, разумеется, была простая крестьянка) чуть было не испортила всего дела. Она, отправляя свою должность, что-то и как-то плохо перевязала, и я едва не изошел кровью. Но, видно, уже так должно было быть, чтобы предрассудок имел еще событие, которое давало бы ему право на большую веру: кто-то во-время рассмотрел беду, и новой суровой ниткой, ссученной вдвое, так сказать, привязали меня к жизни, и — благодарю бога — по сие время я не имел причин жаловаться на ее прочность.

Разумеется, я ничего не помню о первых днях моего детства; но по рассказам известно, что я был самый тихий и самый покойный ребенок, чему доказательством может служить следующий случай. Однажды (когда мне было не более восьми недель) мать моя, которая, оправившись от родов, должна была неотлучно находиться при графине, прибежала в свою комнату, чтобы меня выкупать, и только начала

мыть — пришел посол от графини, чтобы как можно скорее шла к ее сиятельству. Будучи всегда точной исполнительницей воли господ, она, не размышляя о последствиях, оставила меня в теплой воде и, прося золовку окончить начатое ею, сама тотчас отправилась к графине. Золовка или не вслушалась в просьбу матери или, может быть, захопотавшись по хозьяйству, забыла; только три часа спустя мать моя, возвратясь домой, нашла меня в том же самом положении, как оставила, покойно спящего в довольно уже холодной воде. Натурально, она сначала испугалась, а потом обрадовалась, видя минувшую опасность, и невольно вспомнила встречное кумовство. Тогда уже не оставалось никакого сомнения в действительности этой приметы.

По прошествии полугода мать моя, по милости господ, отправляясь для услуг, уже брала и меня с собою, и я имел полное право валяться на господских диванах и пользоваться всеми правами ребенка. А если иногда случалось мне быть не очень вежливым, то граф, по обыкновению, ворчал, а графиня от души смеялась. Такая милость, само собою разумеется, рождала зависть во многих матерях, дети которых не пользовались такою честью.

Таким образом, я рос, быв утешением и родителей и господ, и дорос до четвертого года. В течение этого времени отец мой переменял звание камердинера на звание управителя, что было новым знаком господ-

ской милости. Ему вверено было в управление все имение господ, которое состояло из тысячи двух сот душ и было разбросано на семидесяти верстах в окружности, что заставляло его часто отлучаться от семейства, ибо графиня не могла обойтись без услуг моей матери.

Однажды по делам управления отец мой должен был ехать в имение, отстоящее от места жительства его верстах в шестидесяти, и как поездка эта делалась на довольно долгое время, то, по словам отца, чтобы ему одному не было так скучно, он решился взять и меня с собою. Мать моя, быв в полном повиновении у мужа, не могла возражать ничего против его воли, хотя мысленно находила множество неудобств и для отца и для меня, и потому, сжав сердце, изъявила согласие на эту поездку и не подала даже виду, что ей это очень не нравилось, тем более, что она знала, что всякое возражение, какое б она ни сделала, осталось бы без внимания, ибо отец мой имел довольно сильный характер в семейственном быту, и если он решал что-нибудь — это уже не изменялось. Но, к утешению матери, явилось возражение на отпуск меня с отцом совсем с другой стороны. Графиня, узнав, что хотят увезти ее любимца (так называли меня, видя ласки господ не только к отцу моему и матери, но даже и к постреленку, все те, кого мучила зависть), решительно объявила отцу, что она меня не отпустит, потому что это невозможно:

во-первых, что ей будет без меня скучно; во-вторых, что в такую дальнюю дорогу отпустить ребенка без матери бесчеловечно; в-третьих, что за мной там некому будет и присмотреть, и накормить, и напоить, и, как она знала, что отцу моему надо было оглучаться каждый день из дому по делам, то я должен уже оставаться без всякого присмотра и очень легко мог ушибиться несчастно и утонуть и пр., и пр.; а всего-то важнее, что ей этого не хочется, что на это есть ее воля. Графиня, при всей своей доброте, была вспыльчива и не любила, чтобы ее воля ставалась без исполнения. Отец же мой всегда не слишком жаловал, чтобы господа вмешивались в дела семейные, а тут и того более: ибо, по его понятиям, я был в таком возрасте, что власть господ не могла еще на меня простираться; ему они могли все приказать, кроме того, когда и как он должен поступать в своем семействе. Решив ни за что не уступать прав отца, но избегая своей настойчивостью довести графиню до раздражения, он прибегнул к просьбам. Мать же, зная лучше характер мужа и видя, что просьбы эти делались таким голосом и такими словами, которые непременно взбесили бы графиню (ибо она твердо была уверена, что отец в этом случае никак не повиновался бы графине, и бог знает, чем бы все это могло кончиться при таких характерах), чтоб только избежать этой бури, заглушила в себе чувства матери и предалась совершенно чувству жены. Не предвидя другой развязки и зная

хорошо графиню, она присоединила и свои просьбы и доказала так ясно, что все несчастья, какие графиня насчитала, здесь со мною скорее могут случиться, ибо сама она не имеет возможности смотреть за мной, находясь безотлучно при ней, и что потому графиня, по доброте своего сердца, не откажет общей их просьбе. Забывая совершенно материнские чувства, боясь только гнева графини, какой мог излиться на ее мужа, в лице которого ясно видела готовность противоречить всему, она со слезами бросилась целовать руку графини. Но истинно доброе сердце уже произвело свое действие, и графиня, найдя средство изъяснить свою доброту, не унижая власти госпожи, внутренне была рада; ибо она в самом деле любила отца и мать за их услуги. Итак, обратясь к моей матери, сказала: «Ну, Маша, только для тебя это делаю; а Семен, право, этого не стоит; он меня не любит, всегда противоречит, и если просит о чем, так это таким тоном, который меня всегда обижает». — «И, матушка ваше сиятельство! вы сами изволите знать, — сказала моя мать, — что он умеет служить, а не говорить». — «Ну, бог с тобой, Семен! возьми Мишу с собой, только, пожалуйста, не дуйся на меня; ты знаешь, как я вас люблю!» — и протянула ему свою руку, которую он от души поцеловал, видя, что все кончилось благополучно. В то время, как решалась моя судьба, когда между тремя действующими загорались страсти, где, с одной стороны, видели не-

повиновение власти, а с другой — угнетение, и когда все обрадовались, что дело кончилось так мирно (тем более, что каждый из трех действующих совершенно понимал, что все они лгали), я в это время преспокойно управлялся со своим завтраком, как будто бы не обо мне была речь.

Эта сцена была как бы недобрый предсказанием для наступающего пути, и в самом деле он окончился хотя благополучно, но после довольно странного происшествия. В дорогу отправился отец мой не один; с ним были муж сестры его, брат ее мужа, еще дворовый человек и я. Ехали мы на двух повозках, запряженных тройками лошадей. Время было летнее, прекрасное — так около Петрова дня. На половине нашего пути надо было покормить лошадей, и потому первое удобное место, т. е. где была возможность напоить лошадей и имелся для них подножный корм, заставило отца моего и его спутников сделать привал. Они остановились на полях, принадлежащих князю Юсупову, у которого поблизости находились большие имения и поля простирались на весьма большое пространство; отпрягли лошадей, пустили их на траву, ибо тогда еще не воспрещалось проезжающему покормить лошадей на чужих полях; сами же, выпив водки и закусив припасенными в дорогу ветчиной, гусем и прочим, накормив, разумеется, и меня, легли поотдохнуть в тени своих телег, а мне строго наказали не отходить никуда и не гонять лошадей, которых я

было уже начал похлестывать кнутиком; отняв кнут, усадили меня в телегу и в самом скором времени заснули все весьма крепко. Проснувшись, отец велел напоить еще раз лошадей и тотчас запрягать, дабы раньше прибыть на место. Все это было сделано с расторопностью, лошади запряжены, все уселись, разумеется, как можно покойнее; отец сказал: «пошел!», и добрые кони после четырехчасового отдыха понеслись с новой бодростью; но, не проехав ста сажон, он же крикнул: «Стой! а где же Миша?» Лошади остановлены, но на вопрос: «Где же Миша?» — не было ответа; ибо все этим вопросом так были отуманены, что никто не отвечал ни слова, и, только придя в себя, вспомнили, что и я находился с ними в пути, что они совершенно было забыли. Не могу описать положения, в котором был отец мой и все его спутники; вопросам не было конца, один спрашивал другого: «Да ты, братец, видел, как он ходил около лошадей? — Ну, помнишь, я давал ему пить? — Э, братцы! это было прежде; а после всего я посадил его на телегу, и, помнишь, Семен Григорьевич приказывал ему не вставать и не гонять лошадей!..» Так толковали спутники отца моего, который, не получив ответа на сделанный вопрос: «где же Миша?», окинул глазами обе повозки и, не видя меня, припоминал: точно ли взял он меня с собою, и если взял, то где же я? Но по довольно долгом припоминании вспомнил все, к несчастью, и вследствие

этого воротился на место, где кормили лошадей; начали все кричать, отходя в разные стороны, и звать меня, полагая, что, вероятно, я, соскучась на телеге, пошел бродить по полю или цветы рвать, которые пестрели на большом пространстве, или гоняться за бабочками; что, вероятно, отошел на довольноное пространство, и как трава была очень высока, то я, возвращаясь к телегам и не видя их, пошел совсем в другую сторону; но со всем тем такой маленький ребенок не мог зайти далеко. А потому кричали и звали меня довольно долго. И как было все напрасно, то каждый, возвращаясь к отцу, излагал свое мнение. Одни говорили, что, может быть, меня украли цыганы, когда все спали, но нет, это предположение было явно несправедливо: цыганы увели бы тогда и лошадей. Другие толковали, что, вероятно, я, отойдя на большое пространство, и как день был довольно жаркий, то устал, присел отдохнуть и потом заснул в траве; следовательно, стоит только подождать часа два-три, то само собою ребенок проснется и плачем своим сам о себе даст знать, а что отыскать его в такой траве, на таком пространстве вовсе невозможно. Это мнение показалось всем довольно основательно, и потому отец мой решился стоять на месте; а чтобы все сколько-нибудь ускорить ожидаемую минуту, он упросил всех сесть верхами, ехать по степи в разные стороны, каждого прохожего опрашивать и часа через два возвратиться; сам же остановился у одной из те-

лег, облокотился на нее и простоял до самого возвращения посланных. Что тогда он чувствовал, может представить отец, имеющий одного только сына и бывший в подобном положении. Как он упрекал себя, что поупрямился и взял меня с собою! Потом приходило ему на мысль: что он скажет бедной матери, которая, сжав сердце, разлучилась с сыном? Потом — что скажет графине, которая так неохотно отпустила меня? Все это перепуталось в голове его в таком беспорядке и так быстро мелькало, что из этого не выходило ничего определенного. Так пробыл он до возвращения посланных, так пробыл до самого вечера, не зная, на что решиться; ибо все возвратились без всякого успеха. Наконец, и предположение, что я в поле где-нибудь заснул, разрушилось, потому что они простояли уже около четырех часов. Тут снова пошли толки, догадки, из которых не выходило совершенно ничего, и никто не знал, на что решиться. Все относились в вопросах к отцу, что делать, но он больше всех не знал, что, и, как день клонился уже к исходу, отец машинально сказал: «запрягайте лошадей!» — сам не зная для чего, ибо он не решил еще, что делать: ехать или нет, и если ехать, то куда? Кучера начали впрягать лошадей. В это время проходил мимо них старик-пастух, впереди которого шло довольно большое стадо, и на желание «добрый вечер», сказанное мимоходом, не получил ответа; это удивило его, заставило взглянуть на тех, кто так

сухо принял приветствие, и тут же увидал на их лицах, что с ними что-нибудь случилось. Итак, по доброте, а может быть, и из любопытства, приняв участие, сказал: «Здоровы булы, паны! що вы так сумуете? ще з вами зробылось?» Долго никто ему не отвечал; но отец (который ко всему теперь привязывался с тоской и надеждою), думая, что, может быть, пастух даст ему какую-нибудь весть, рассказал ему в коротких словах причину своего горя. «Да, ще не добре!» — промолвил пастух и, немного погодя, сказал: «Може вам покажетця смишно, а послушайте мене старого. Колы прылучилась з вами такая шкода, то вы вже не покидайте того миста, де вона зробылась; а простийте тут тры дни, да посылайте в окрестные села и хутора узнавать, и колы бог даст, то може и знайдете свою дытыну. Далеко ему зайты не можно — и в яку б воно сторону не пишло, то все набредет або на село, або на хутир, або и так зустрине доброго челоуика: то уже воно все-таки буде звистно, та и я буду роспытуваты. Колы ж простоятъ це время нестане хлиба, то от возьмить — у мене йе шматок, а завтра я ще вам вынесу. Колы ж в тры дни воно не найдетця, то вже мабутъ ёго нема близько: може ёго недобрый челоуик украв, може воно утонуло де в ставу, або може — чого боже бороны! — и звиряка его зыв». Ничего не имея в мыслях определенного, отец безусловно согласился с мнением старика, благодарил его за добрый совет и за участие.

просил разведывать, и, если паче чаяния что узнает, то тотчас известил бы его как можно скорее сам или бы нанял кого, на что предложил несколько денег. Но пастух не принял их и уверял, что только что узнает, тотчас известит; пожелал им всем благополучно оставаться и побрел своим путем. Между тем лошади, которых начали было впрягать, по воле отца были отпряжены; им спутали ноги и пустили пастись на свежую траву. Потом сделали осмотр, что у них имеется съестного, и видя, что на вечер очень довольно, похлопотали о свежей воде, которую черпали из близлежащего родника. Таким образом, приготовив все для наступающего ужина и выпив с горя по доброй чарке вина, поели хорошо и разлеглись спать: кто на телеге, кто просто на траве, разумеется, кроме моего отца, который не ужинал и не лег спать, а остался присматривать за лошадьми под предлогом, что люди, целый день ездив верхами в разные стороны на значительное расстояние, очень поустали, и для того им отдых гораздо нужнее; но что как скоро он захочет спать, то разбудит кого-нибудь посмотреть за лошадьми. Такого рода распоряжение было совершенно согласно с желанием каждого, и чрез несколько минут разногласный концерт храпения огласил воздух. Остался один отец с тоской на сердце и с тяжелой думой, не предугадывая: что завтрашний день — обрадует или совершенно лишит его всякой надежды? Так проходил он целую ночь вокруг спя-

щих товарищей своего пути, и, только что показалось солнце, он всех разбудил. Тотчас, разумеется, все встали, оделись, умылись, помолились богу, кучера напоили лошадей, и на вопрос: что теперь делать? отец упросил родных своих, а прочим приказал: сесть верхами и отправиться в разные стороны, указывая каждому путь и место, до которого он должен ехать, осведомляться, а когда все возвратятся, то, отдохнув, можно снова пуститься по другим направлениям, чтоб не пропустить не только села, но даже хутора. Он указал им ехать сперва в одну половину окружности, и если, к несчастью, никаких слухов не будет, то после обеда, отдохнув немного, отправиться в другую и не пропускать ни одного прохожего и проезжего, не опросив его хорошенько. Выслушав наставления, все поскакали в указанные стороны, и чем более отдалялись, тем полукружие, центром которого был мой отец, делалось обширнее; наконец, они уже казались вдали какими-то движущимися точками и потом совершенно исчезли. Оставшись совершенно один, отец почувствовал, после сделанного распоряжения, какую-то надежду: по его мнению, невозможно было, чтоб поиски остались без успеха. Так утешал он себя во все время, пока не стали возвращаться посланные, — и ни один не принес никакой радостной не только вести, но даже надежды. Итак, в душе отца все приняло прежний образ — та же тоска, та же мука, которой уж не видел и конца... Родные отобедали вместе

с людьми, т. е. поели кой-чего, что могли купить в ближнем селе; приглашали, между прочим, и отца моего разделить с ними обед, от чего он решительно отказался. После того, отдохнув, поскакали все в противоположные стороны с такою же скоростью; но отец теперь не имел уже прежней надежды и страдал ужасно. Снова посланные возвратились, снова не привезли ничего, ни даже намека; глубже и глубже становилась горесть отца! И пастух, прогоняя свое стадо в урочное время мимо места, где они стояли, не принес никакой вести. Вторая ночь прошла таким же порядком, т. е. все спали, кроме отца. Наконец, настал роковой день, день, на котором еще как-будто мелькала какая-то надежда, с исходом которого все уже должно было рушиться, ибо отец в своем тягостном положении безусловно теперь верил всем предрассудкам, хотя очень часто любил подшучивать на этот счет над другими. Хватаясь, как утопающий за соломинку, он снова отправил верхами разведывать, но не всех; одного из кучеров, по долгом размышлении, отправил обратно к господам объявить им несчастье и попросить их прислать человек тридцать верхами, дабы объездить во всей окружности села, деревни, хутора и леса, чтобы по крайности, если уже его нет в живых (так выразился он), то хоть бы кости его отыскать! Как будто по ним он мог узнать меня. Тот нехотя поехал обратно, ибо ехать тридцать верст верхом без седла казалось ему очень

невкусно, а особенно после двухдневной скачки. Скрывшись из глаз, он осадил лошадь, поехал с весьма кислой рожей и, не проехав шести или семи верст, заметил, что ошибся в дороге. Это тем более его удивило, что дорога была слишком знакома. Вероятно, он или задумался или вздремнул немного (хотя последнего вовсе не чувствовал), а потому и не заметил, что лошадь, при разделении дорог, взяла совсем в другую сторону; ему было весьма досадно на себя за такую оплошность: «Ну, диви бы ночью, а то среди бела дня, чорт возьми, потерял дорогу!» Желая выместить свою досаду на ком-нибудь, приударил плетью лошадь и думал понестись во весь опор. Но лошадь от удара бросилась в сторону, фыркнула, наострила уши и остановилась. Он стал оглядываться по сторонам, желая узнать, от чего лошадь так шарахается, и увидал, что из близлежащего леса бежит волк или волчица и прямо на него, и уж довольно в близком расстоянии. Не имея ничего при себе и не быв храброго десятка, он поворотил лошадь направо, гикнул и пустился, как стрела, беспрестанно оглядываясь, но заметил, что волк не отстает; проскакав версты две, уверился, что ему не уйти от него, и очень упал духом; как вдруг с противной стороны оврага, к которому он приближался, услышал людские голоса, которые кричали: улю-лю! улю-лю! и лай собак, которые неслись прямо ему навстречу. Он ободрился, оглянулся и видит, что волк уже не преследует его, а,

напротив, бежит от собак; почему и сам, поворачоя лошадь, прикрикнул: улю-лю! улю-лю! и так притравил волка чужими собаками, что тот ретировался обратно в лес. После сего кучер остановился и тогда уже заметил, что собаки, которые его выручили, принадлежали пастухам и находились при их стаде. Подъезжая ближе, он узнал старика, который давал им советы и хлеб; а старик тоже, в свою очередь, признал кучера и тотчас спросил: «А що, нашли вы своего хлопця?» — «Нет!» отвечал Андрей. «Ну, так вин кланяетця вам добрым здоровьем! вин у Рокитний. Вертайся швыдче назад до его батька, я сам хотив уже до вас идты, да благо ты тут прилучився. Та гляды — возьми наливо от тою поляною; близько лиса не йзиди: або там от та вовчиця, що бигла за тобою, бродыть с вовчатами и багацько шкоды робить, покы не попалась моим собакам; от и теперь проклята далеко их забачила, тай повернула зараз... Ну, ну, паняй с богом! та скажи хлопцеви батьку, що дытына его у Рокитний у Семена Господиненка, который знайшов ёго близко хутора; а живе вин пидля новой церкви — тут-таки на самому базари, так соби высокенька хата и нови ворота, та тут ще й верба дуже велика, и мабудь одна тильки йе така на всю вулицу. Та там як раз найдете! Ну, прощевай с богом соби!» Весело Андрей скакал обратно к моему отцу, около которого сидели дядя Дмитрий и дядя Абрам (так мы их всегда называли) и другие спут-

ники — почти все вместе. Заметив, что кучер возвращался назад и скакал во всю мочь, они не знали, чему приписать такую поспешность, а особенно отец, который дрожал, как в лихорадке, и не знал: бояться ли ему или радоваться? Но тот, не доезжая еще, закричал: «Радуйтесь, Семен Григорьевич! Миша жив! Миша нашелся! он в Ракитной...» — и слезы ручьем хлынули у отца при этой вести. Долго он не мог притти в себя от радости и беспрестанно расспрашивал Андрея: кто нашел? как нашел? когда? где? и подобные тому вопросы, на которые не мог получить удовлетворительных ответов; когда же поуспокоился немного, вздохнул и сказал: «Ну, слава богу! слава богу!» — и потом прибавил, что отслужит молебен Николаю-чудотворцу, как только приедет в Ракитную и увидит меня, что, разумеется, он и исполнил в свое время. Между тем лошади уже впряжены, и все уехали чинно на повозках, повторяя единодушно: «Ну, спасибо пастуху, что удержал нас на этом месте; право, спасибо! Что ни говори, а приметы, над которыми иногда смеются богоотступники, всегда справедливы!» Так думал каждый про себя, весьма довольный своими заключениями, кроме отца, который рассуждал совсем о другом: он думал, как приятнее наказать меня за такую, по его словам, вину, и мысленно было положено: как только приедет в Ракитную, то тут же меня хорошенько посечь. Но вышло совсем иначе; ибо когда прибыли на место

и отыскиали дом, о котором так ясно было рассказано, то, кроме работника, никого не нашли дома, и на вопрос: «Где хозяин и хозяйка?» — им ответили: «Та понесли на ярмарку хлопця, що пан отец найшов позавчора; бо дытына все тоскуе! Уже ему и меду, и бублыкив, и медовныкив, и таки всего давали; так ни, усе-таки просытця до батька та до матери. Та мабуть уже скоро вернутця, бо вже давненько пишлы. Старый и стара з рук ёго не спускають; бачь— у их дитей з роду не було, так вони так собі рады, що господь им послав хоть чужого, що вже так и положили: колы его батько и матирь не найдутця, то взять вмисто сына и всю худобу ему свою зоставить». Все это рассказывал работник на дворе, где отец мой сел на завалине прямо против ворот, из-за которых надеялся увидеть меня. И в самом деле — еще работник не кончил своих подробностей, как я уже шел из-за ворот между мужчиной и женщиной довольно пожилыми. Как только я увидал отца, то с чувством какой-то вины и радости вместе подошел к нему, протянул ручонки и залился горькими слезами, сам не зная верно от чего: от радости или опасения быть высечену? Он же не мог встать и остался в том же положении и, как кажется, в силу своего решения, хотел встретить меня строго; но слезы невольно, без его ведома, пробились и хлынули рекой из его глаз. Все вокруг, глядя на меня и на отца, который держал меня уже на коленях и нежно целовал, все

молча плакали, и только по временам слышно было всхлипывание то того, то другого. Итак, вместо предположенной моим отцом экзекуции, кончилось все концертом слез. Хозяин с хозяйкой, у которых я отыскался, разыгрывали соло, а особливо она; ибо уже так верно разочли и распорядились и в короткое время так себя уверили, что я их сын, что никак не думали меня отпустить. Несмотря на то, что должны были теперь расстаться со мною и расстались, осыпая меня горячими поцелуями, проливая ручьи слез и повторяя прощанье много раз. Таким образом кончилось мое бегство или потеря, право, не знаю, как назвать.

Теперь следуют маленькие подробности, каким образом я от места отдыха, почти на пятнадцать верст, очутился в Ракитной. Из того, что можно было собрать из ответов на делаемые мне вопросы (ответы казались им удовлетворительными), из рассказов крестьянина, который меня нашел, и из показаний другого свидетеля, бывшего в то время вместе с ним на хуторе, вышло следующее. Когда все уснули, я спустился с телеги, взял кнутик и пошел хлестать им около лошадей; потом, соскучась, стал рвать цветы и ловить кузнечиков; так шаг за шагом, далее и далее, наконец, зашел так далеко, что когда хотел воротиться к телегам, то уже не видал ни их, ни лошадей. Вероятно, желая отыскать телеги, я избрал какой-нибудь путь, думая, что он приведет меня к ме-

сту, мною оставленному, а всего вероятнее, что я ничего и не думал; только, по словам моим, осталось известно, что таким образом я прибрел в лес, в котором увидал большую серую собаку с щенятами, что я очень испугался и заплакал, и что тут же явился какой-то мальчик, который был еще меньше меня и такой хорошенький и уговаривал меня не бояться, так как собака эта не кусается. В доказательство он подошел к ней и погладил ее по голове, причем собака очень к нему ласкалась; заставил и меня ее погладить, что я и сделал. Потом повел меня через лес, и когда я начал просить пить, то он отвечал, что как только выйдем из лесу — сейчас найдем воду. Выйдя из лесу, я оборотился к мальчику спросить: где же вода? но его уже не было. Долго звал я его к себе и, не получая ответа, стал плакать и вместе с тем сходить с довольно крутой горки, внизу которой заметил воду; и как мне, вероятно, очень хотелось пить, то я спустился вниз и прилег наземь, желая с обрывистого берега утолить свою жажду. Но вдруг услышал голос: «Хлопче, гляды — утонешь! тут така глыбыня!» На что я, лежа, со слезами отвечал: «Да мне пить хочется!» Между тем подошли ко мне два человека: один из них был постарше, хотя и оба уже не молодые люди; старший из них поднял меня с земли и, сняв с себя шляпу и сложив поля ее на три угла, прилег к пруду, почерпнул ею воды и дал мне пить. Потом, поговоря между собою, спросили

меня: чья я дытына? и кто отец мой? и куда ехал? — на что я отвечал им такую путаницею, что из всего мною сказанного они могли только понять, что отец мой Семен Григорьевич, мать моя Марья Тимофеевна, что у меня есть хороший барин Гаврила Семенович и барыня Елизавета Ивановна, что барин меня кормит конфетами, а барыня поит чаем, что у меня есть дядя Дмитрий и дядя Абам (ибо я тогда буквы еще не выговаривал), что мы ехали куда-то далеко, что в поле обедали, что все пили водку и все легли спать и что я потом пошел. Изо всего этого они ничего не могли определить верного и не знали, что им делать. Один из них, который помоложе, советовал отвести меня на близлежащую дорогу и пустить, что, вероятно, кто-нибудь меня встретит, и что таким образом они избавят себя от хлопот, а может быть, и от беды; ибо бог знает что тут такое: так ли затерялась хлопя? «або може батько и матирь ёго поризаны, то таку напасть соби возьмиш, що с судом не розвяжешся по вики!» Но, невзирая ни на что, старик никак не решился последовать его совету, говоря: как можно таку малу дытыну оставить одну? що колы с нею що прилучитця, то их и бог накаже, и вже що буде, то буде, а он берет меня к себе. Итак, привел меня на хутор, покормил сотовым медом и уложил спать, а на другой день привез в Ракитную и представил в контору, где объявил, что нашел меня близ своего хутора. Управляющий хотел

меня оставить у себя, на что я никак не соглашался, говоря, что кто меня нашел, у того я и жить буду. Управляющий, не желая меня приводить в слезы, отпустил со стариком, приказав конторе послать в суд объявление. Итак, старик привел меня к себе в дом, и вместе с женой положили, что, ежели, бог даст, не отыщутся мои родители, взять меня вместо сына. Вот все, что узнал мой отец.

Выслушав рассказ хозяина и мой, он тут же подумал, что велика милость господня, что, очевидно, дитя, провожавшее меня через лес, мимо волчицы с волчатами, был не кто другой, как ангел-хранитель, и мысленно принес благодарственную молитву господа богу.

И вот чем кончилась эта маленькая драма. Разумеется, я ничего этого не помню; но это как анекдот моего детства осталось известным в моем семействе, часто повторялось и всегда одинаким образом не только отцом и матерью, но даже и товарищами его, без малейшей перемены. Со всем тем не выдаю всего за совершенную истину, а оставляю всякому полную свободу верить и не верить. Мое дело было только рассказать верно.

После этого вскорости граф убедил графиню расстаться с матушкою и отпустить ее к мужу (которому уже назначено было жить в хуторе Проходах как в центре управляемого им имения), представляя в причину, что разлучать мужа с женою в таких молодых летах — грех, да и за Мишей будет кому

присмотреть. Все это вместе решило графиню согласиться. Итак, вдруг я переселился из Обоянского уезда в Судженский, где и жили мои родители лет около тридцати, т. е. до "продажи нас князю Репнину"⁴. Стало быть, тут промелькнуло мое детство, весьма не интересное, как и детство всякого ребенка, а особливо в том звании. Известно только, что я был самый острый и умный ребенок, что был два раза ушиблен самым ужасным образом, из коих один раз об дровосеку, а в другой раз так странно, что стоит рассказать. Меня просто перебросило через ворота, т. е. через верхнюю их перекладину; а как? Вот в том-то и дело. Просто с дрожек в первый день светлого Христова воскресения. Как это случилось и от чего? — известно, но полета, который я сделал через ворота, не могла мать объяснить, ибо она одна и была свидетельницею, но от испуга подробно ничего не помнит. Вот как это было: в светлый праздник отец и мать ехали в Турью, где мы были приходом, к обедне и, разумеется, взяли меня с собою. Как вышли садиться на дрожки, которые были тогдашнему без крыльев, довольно длинные, мать села, посадила меня подле себя; отец же сказал: «Вы съезжайте с горы, а я сойду пешком» (дом, где мы жили, был на горе). Тут кучер, державший лошадь за повод, спросил отца: «разве и ему ехать?», потому что очень часто случалось, что отец правил сам, а, приехав в Турью, лошадь обыкновенно остав-

лял у попа на дворе. Теперь же в такой праздник, при тесноте, отцу показалось это неудобным, почему на вопрос кучера он и сказал утвердительно, чтоб он ехал, а сам вышел в растворенные ворота. Кучер, обратясь к моей матери, которая уже сидела со мною на дрожках, сказал: «Позвольте ж мне, Марья Тимофеевна, надеть новый зипун!» — и, не дождавшись ответа, отправился за ним. Лошадь, чувствуя свободу, стала поворачиваться из стороны в сторону; мать только что хотела взять вожжи, замостанные наперед около шкворня, который был выше дрожек вершка на два с половиной, как в это самое мгновение лошадь шарахнулась и бросилась со всех ног в ворота. От быстрого движения мать свалилась с дрожек, не успев схватить меня, и видела только, что дрожки зацепились за вереву передней осью и что от толчка я свалился на заднее колесо, с которого быстро полетел через ворота; но как это случилось? — она не могла объяснить, потому что тут же сама упала без памяти. Отец, услышав стук позади себя, оборотился и увидел меня летящего через ворота; в ту же минуту пронеслась и разъяренная лошадь с дрожками, которые, разумеется, вдребезги избила. Отец бросился назад, подбежал ко мне и поднял меня без всякого движения; даже очень долго не было слышно: дышу ли я? Все это сделалось так быстро, что никто и не видал! На крик отца прибежали кучер, кухарка, бабушка; отец потре-

бывал воды и, когда принесли, sprыснул меня ею. Между тем очнулась и мать и вырвала меня у отца; он же велел подать нож, которым мне рознял стиснутые зубы, и влил несколько капель воды, проглотив которую, я в ту же минуту вздохнул очень протяжно; при этом кожа на лбу, от ушиба поднявшаяся почти на вершок, видимо, начала понижаться и пришла в обыкновенное положение, удерживая на себе только синий, почти черный цвет — признак сильного ушиба. Разумеется, что к обеду уже никто не поехал. Долго сомневались в моей жизни; купали меня два раза в день в какой-то траве (кажется, называли ее завяз) и недели через три начали надеяться на мое выздоровление, а через шесть я уже совершенно оправился: но чудесный сальтоморталь остался необъяснимым. Потом в детстве я тонул один раз, от чего тоже был спасен. Все эти чудесные спасения были ни к чему другому отнесены моею матерью, как к тому, что были встречные кумовья. Отец же просто видел тут благодать божью и заключал, что он со своим семейством находится под особым господним промыслом.

В исходе пятого года моего возраста, чтоб я не баловался, отдали меня учиться грамоте к Никите Михайловичу. Фамилии настоящей его не знаю, а носил он другую, которую не могу сказать, ибо она смешивается с таким именем, что никак не прилично выразить. С этого времени, хотя еще и не довольно

ясно, но начинаю кое-что помнить из моего детства. Помню, что я каждый день ходил в школу, что у меня было еще два товарища — дети Никиты-шинкаря: Гаврило и Никита, что у учителя была дочь Надёжка, что учился я весьма легко и быстро: ибо едва мне сравнялось шесть лет, как я уже всю премудрость выучил, т. е. азбуку, часослов и псалтырь; этим обыкновенно тогда и оканчивалось все учение, из которого мы, разумеется, не понимали ни слова, а приобретали только способность бегло читать церковные книги. Помню, что при перемене книги, т. е. когда я окончил азбуку и принес в школу в первый раз часослов, то тут же принес горшок молочной каши, обернутый в бумажный платок, и полтину денег, которая как дань, следуемая за ученье, вместе с платком вручалась учителю. Кашу же обыкновенно ставили на стол и после повторения задов (в такой торжественный день учения уже не было) раздавали всем учащимся ложки, которыми и хватали кашу из горшка. Я, принесший кашу и совершивший подвиг, т. е. выучивший всю азбуку, должен был бить учеников по рукам, что и исполнял усердно при всеобщем шуме и смехе учителя и его семейства. Потом, когда кончили кашу, вынесли горшок на чистый двор, поставили его посредине, и каждый бросал в него палкой; тот, кому удавалось разбить его, бросался стремглав уходить (бежать), а прочие, изловив его, поочередно драли за уши. Что это за

церемония? Для чего она делалась? Когда было ее начало? Ничего не знаю и не могу сказать. Помню только, что по окончании часослова, когда я принес новый псалтырь, опять повторилась та же процессия, и что, кроме меня, раз еще принес кашу Никишка, когда кончил часослов, над которым я и застал его: оба брата, Никита и Гаврило, учились очень тупо. Помню, что их драли немилосердно, хоть толку от этого не было никакого; я же, напротив, удивлял своею остротою, так что учитель не успевал задавать мне уроки.

Когда я кончил псалтырь, то отец мой, зная, что учитель мой не способен более учить ничему, писал в Белгород к знакомому, очень ученому священнику (который когда-то, бывши еще студентом, учил у графа старшего сына) и спрашивал, что он возьмет за мое ученье. Между тем во время долгой переписки я должен был всякий день ходить в школу протверживать зады. Помню, что это мне ужасно надоедало; я, наконец, стал протверживать с такою быстротою, что только и слышно было: «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых»⁵, — а дальше уж и сам сатана не мог бы разобрать ни слова. Таким образом, через четверть часа я оканчивал все, что было задано читать, и отпраплялся гулять в лес с ребятами, оставляя учителя весьма довольным своим учеником. Учитель часто ставил меня в пример другим ученикам, говоря: «От, як бы

и вы так учились, як Мышка, то и вы пийшли б тепер гулять». Обыкновенно в лесу я прогуливал до обеда, ибо твердо знал, что если бы из школы пришел домой, то меня не пустили бы бегать по лесу. Наконец, как-то отцу моему стало известно о кратком способе моего повторения, и потому он строго запретил мне выходить из школы, пока не кончится общее учение; но я на другой же день, кажется, забыл его приказание. Отец же мой, которому из своего дома видна была школа, нарочно наблюдал за мною и, как скоро увидел, что я наострил лыжи в рощу, отправился и сам туда, наломав дорогой добрый пучок розог, и, найдя меня, порядочно вышпорол. По окончании экзекуции, во время которой я кричал во все горло, притащил он меня в школу, разбил учителя, что он не смотрит за мною, что ребенок совсем избаловался, что читать стал гораздо хуже, и вместо того, чтобы читать, бормочет так, что ничего нельзя понять, и в доказательство тут же заставил меня читать. Я, получив уже привычку, полетел, как говорится, на почтовых, а потому только и могли разобрать (как я уже сказал) «Блажен муж», а далее уж ни слова. Отец остановил меня, велел начать снова, но вышла та же история; потом в третий раз — все то же. Батюшка рассердился, плюнул, топнул ногою и ушел, наказав строго учителю исправить ребенка. Гнев отца произвел свое действие, ибо учитель имел школу приватно, главное же

занятие его было при винокуренном заводе, где он состоял ключником у хлебного магазина; поэтому, боясь потерять это место, что совершенно зависело от воли отца моего, он обратил все внимание на исполнение его желаний, и чтобы поправить зло, то под обещанием строгого наказания велел мне, читая, останавливаться по точкам. Но как я забывался, а более потому, что половину болтал на память, то получал часто должные награды, как-то: скубки, удары по руке линейкою; это помогало, впрочем, весьма мало. Однажды учитель отпустил мне две очень ловкие пали (при коих я взвизгивал, разумеется) и при молвил: «Адже я тобі уже казав, собачий сину, щоб ты читав по точкам!» Это значило у него останавливаться на них. Эта малороссийская фраза уже вековая: из давних времен говорила она так, как сказана выше, почему и ко мне дошла из уст учителя без всякой перемены. Учитель же мой был малороссиянин, да и весь уезд населен был более малороссиянами, нежели русскими. В ответ учителю, против всякого его ожидания, я, проливая горькие слезы и мотая от боли рукою, спросил у него: «Да для чего же останавливаться по точкам?» При сем вопросе учитель мой остолбенел: в первый раз услышал он такой вопрос, в течение целых сорока лет обучая юношество грамоте, — и до того смешался и рассердился на такой дерзкий и вольнодумный вопрос, что долго не отвечал на него. Но, рассудив

потом, что такие слова не могли излиться из уст такого малого и притом умного ребенка, и что, конечно, нечистый дух внушил мне их, он сотворил крестное знамение и сказал мне: «Тютю, дурный! чи ты не знаешь, що ты сказав?» Я, ничего, не понимая, повторил сквозь слезы: «Я говорю, для чего останавливаться по точкам?» Тут он, видя мое неведение и уверясь, что такой вопрос сделан мною без всякого злого намерения, смягчил голос и сказал: «Дурный, дурный! хiba ж ты не знаешь, що священное писание так уж и писано щоб, читая ёго, останавливались по точкам, и що вси праведные так ёго читали?» Ничего не понимая, я опять спросил: «Да для чего же это нужно?» Не умея дать лучшего пояснения, он начал мне толковать: «Адже тоби не можно прочитати всего псалма одним духом, то треба и отдыхнути; от для того святыи и праведные, которые сие писали, нароком и поставили точки. А ты б то, дурный, думав, що вони поставили их дарма?» И он очень был доволен, что растолковал мне так ясно, что более, казалось, нечего было и говорить. Но к крайнему его изумлению я и тут нашел кой-что для себя не понятным и, ворча, все еще сквозь слезы сказал: «Помилуйте, да это быть не может! Вот посмотрите, как точки расставлены: вот тут (указывая на книгу) от точки до точки — три слова, а тут — целых десять строк, а их нельзя проговорить одним духом; так это быть не может,

чтоб они были поставлены для отдыха». Учитель, видя, что злой дух совершенно овладел мною (ибо не может быть, чтоб без его наущения такой умный ребенок не понял того, что, по его мнению, он растолковал так ясно), а потому, не желая входить в состязание с сатаною, как он говорил, отпустил мне в голову порядочную тукманку, говоря: «Колы ты тим точкам не виришь, так от тоби точка! от сей, мабуть, повиришь; и колы ще будешь пытати, то я тоби, для пояснения, таку задам жарёху, що з недилю будешь заглядывать!» После такого сильного доказательства я уже навсегда отказался от подобных вопросов.

В скором времени, по настоянию матери, которой слишком жаль было, что бедного ребенка учитель, сам ничего не зная, так жестоко наказывает, отвезли меня в Кондратовку, в имение, принадлежащее графу и потому находившееся также под распоряжением отца моего, к тамошнему священнику отцу Димитрию, чтобы я повторял выученное мною до того времени, пока повезут меня в Белгород. Не оскорбляя памяти покойника, я должен сказать, что новый наставник мой отец Димитрий был тоже недалекого образования и только в тогдашнее время мог быть священником: что не каждый день повторялось в служении, то он разбирал весьма плохо. Так, например, когда мне было уже лет пятнадцать, то граф однажды в троицын день, зная, что священник плохо читает, послал

меня к нему от своего имени попросить, чтобы молитвы, которые читаются при коленопреклонении, прочитал он сперва дома, дабы можно было внятнее их слышать. Но он сделал лучше: он прочитал во время служения только две молитвы, а третьей совсем не читал. А когда, после обедни, пришел к графу с просвиркою поздравить с праздником, что делалось в каждый двенадесятый праздник и в день именин графских, то граф спросил: почему он прочел только две молитвы? Священник почтительно отвечал: «Ваше сиятельство присылали, чтобы я прочитал молитвы у себя на дому; почему одну и прочел дома. Извините, что больше не успел прочесть; а остальные две прочел в церкви, во время служения». Граф, слушая это, улыбнулся и не сказал ни слова.

Другой пример служит еще лучшим доказательством сколько невежества, столько и грубости тогдашнего времени. Однажды летом, в какую-то субботу, во время уборки хлеба, дьячок и пономарь, занявшись полевой работой (ибо весь причет церковный получал на содержание 33 десятины земли), упросили нашего же дворового человека отправить вместо их с священником всенощную, и как человек этот, по прозвищу Козел, был горький пьяница, который только и знал, что пил и пел на крылосе, то они вытрезвили его, с обещанием после всенощной напоить снова. Зная хорошо весь церковный устав и не имея в виду другой попойки, он охотно согла-

сил. А как священник нередко видал его исправляющим должность дьячка, то без всякого возражения начал с ним служение. Молящихся в церкви, по случаю полевых работ, было только три старухи, мальчик, отправляющий должность ктитора, и я. Михайло Козел был самой нелепой наружности и от беспрестанного пьянства с распухшею рожею; голос его и без того самый грубый и неприятный бас, а тут на похмелье сделался еще отвратительнее. После первого благословения, сказавши «аминь», начал он чтение каким-то скрипучим голосом. Таким образом, все шло своим порядком до чтения кафизм; ибо, как я уже сказал, Козел был очень тверд в порядке служения. По прочтении одной кафизмы священник в алтаре или читал какие-либо молитвы, или мысли его заняты были чем-либо житейским, только он не слышал, что чтение кафизмы уже кончено. Козел же, помолчав немного и не слыша следующего после кафизмы п а к и и п а к и, произносимого обыкновенно священником, решился напомнить ему; почему вполголоса, хрипя, сказал: «Отец Дмитрий! п а к и и п а к и...» — на что священник, приостановивши свое чтение и не понимая хорошо, в чем дело, только помня, что его прервал голос Козла, быстро отвечал ему: «Ну, ну, читай!» Козел, будучи тверд в сем деле, весьма оскорбился и, в доказательство своего знания, повторил прежнее написание голосом уже не столь почтительным, а гораздо грубее: «п а к и и п а к и!» Свя-

щенник же, все еще порядком не очнувшийся или досадуя, что Козел стал учить его, опять повторил: «Читай, читай!..» Тут Козел, уже без всякого почтения к месту и сану, слишком настойчивым голосом напомнил: «Паки и паки!..» Раздосадованный таким упрямством Козла, священник закричал очень сердито: «Кажу тебе: читай!» Козел наш обезумел, вытаращил глаза, в бешенстве сжал правый кулак, закричал ужасно зубами и вышел вон из церкви, оставя бедного священника одного, совсем растерявшегося от злости и от незнания, что делать; ибо он даже не помнил, до которого места дошло служение. Тогда по необходимости я вошел к нему в алтарь, объяснил ему, в чем дело, и предложил себя для услуг вместо Козла, ибо, живя (как сказано будет после) в Белгороде почти четыре года у священника, я тоже хорошо знал порядок служения; и таким образом кое-как всенощная была окончена.

Когда рассказал я все это графу, он ужаснулся; но потом, подумав немного, промолвил: «Я бы давно просил архиерея переменить нашего священника, но он человек семейный, у него куча детей, они могут остаться все без куска хлеба; а этого греха я не возьму себе на душу!» И в то же время брал на себя грех другой — ужаснее.

И вот кому вверено было мое детство, так быстро развертывавшееся; но, к счастью моему, я прожил у него только около трех месяцев. Из всего

этого времени я только и помню, что на другой день моего поступления он нещадно выпорол меня розгами, кажется, за то, что я, от излишнего познания церковного чтения, разорвал первый лист псалтыря: ибо, начиная протверживать зады с «Блажен муж» при детях священника, перед которыми хотелось мне блеснуть своими сведениями, и для того оканчивая страницу, так быстро и ловко перевернул лист, что разнес его почти пополам, за что и получил вышеобъясненную напраду. Такой дебют меня очень испугал, и я думал, что попал из огня да в полымя; но, славу богу, все пришло в свой порядок, и я, повторив, что было мне задаваемо, имел полное право бегать, где пожелалось; а так как отец мой здесь не жил, то и некому было заметить, что слишком свободно пользуюсь всеми детскими правами. Когда же в воскресный день случалось отцу моему приезжать к нам к обедне и слышать меня уже поющего на крылосе с дьячками (ибо я с самого детства имел необычайный слух: мне достаточно было слышать один раз какой-нибудь мотив, и я мог петь его безошибочно), то он оставался весьма довольным, хоть мне этого и не показывал.

У него был свой образ мыслей: он полагал, что только строгостию можно заставить детей любить и почитать родителей, т. е., по его мнению, бояться и любить — было одно и то же. А потому я, а равно и все дети, которые были потом, с четырехлетнего

возраста видели от отца одну только строгость и никогда ласк; зато с избытком осыпала ими мать, отчего и вышло совсем противное тому, чего ожидали наши родители. Мы до некоторого возраста, т. е. до того времени, когда начали уже понимать, отца боялись, но не любили; а мать любили, но не боялись, а потому и не слушались, что было для нее весьма неприятно. Иногда, желая внушить нам при любви и страх, она наказывала нас, но наказывала как мать, и потому это очень мало помогало.

При всем уважении к моим родителям я должен был высказать их образ мыслей, тем более, что это было в то время общее мнение насчет воспитания детей — не только в том состоянии, в каком находились мои родители, но и в высших сословиях. К чести же моего отца скажу, что он всегда был выше своего звания, чему служит доказательством и то, что он не удовлетворялся тогдашними общими понятиями своего круга об образовании детей, а желал научить меня чему-то больше, хотя и слышал беспрестанно вокруг себя от своих товарищей: «Чорт знает чему управитель хочет учить своего сына, отдавая в Белгород: мальчик и так уже выучил азбуку, часослов и псалтырь, его бы теперь выучить писать — и конец, а там отдать в суд переписывать дела, и вышел бы человек!» — ибо по их понятиям не было выше этого образования; об остальном, т. е. учении языкам, им не приходило и в голову, что крепостному человеку

можно их знать. Но отец мой, который не раз бывал с графом, во время его службы в гвардии, и в Москве и в Петербурге и уже выдавший, как говорится, многое и слышавший об университете и то, что у иных помещиков камердинеры, бывшие с господами за границей, говорят с ними по-французски, слушал их болтовню улыбаясь и пропускал мимо ушей без всякого внимания.

Три месяца моего детства в Кондратовке у попа Димитрия промелькнули очень скоро, так что из всего времени в памяти моей ничего не осталось, кроме сказанного: как видно, интереснее ничего и не было.

Когда пришло время везти меня в Белгород, то недели за две до того взяли меня домой, чтобы обшить всем нужным на долгое время, дабы я не имел там ни в чем недостатка: туда уже невозможно будет ничего переслать, по причине отдаленности; ибо до Белгорода было от нас слишком сто верст. А между тем мать думала про себя: ребенок все-таки погуляет! — и на это время я даже не занимался и протверживанием задов, и отец смотрел на это сквозь пальцы. Иногда только для шутки, и то чтобы поугаять бедную мать, он говорил: «А что, Маша, ты не посадишь Мишу протвердить что-нибудь?» Против чего Маша, испугавшись, представляла какую-нибудь невозможность: или что у меня сапоги не готовы, или что надо шаровары примерить, и тому подобное, и он

оставался доволен изложенными причинами, и я бе-гал сломя голову,—одним словом, делал, что хотел. Мать много раз сама удивлялась, что отец так равно-душен к моим шалостям, а еще более, что казался убежденным изложенными ею причинами, обдумавши которые, сама чувствовала их нелепость; но молчала и была довольна, что ребенок, с которым она скоро расстанется на долгое время, вполне навеселится и не будет забывать дому родительского. Она не могла разгадать, что и отец, разлучаясь с сыном не без сердечной горести, как он сам потом сознавался, и не зная, какая будет моя будущность, как-то невольно уступал чувству отца, а не голосу рассудка, и мыс-ленно решил: пусть теперь ребенок нагуляется в доме отца, а на чужой стороне еще бог знает, что будет: может быть, и не доест и не допьет. Он чувствовал, что слишком рано отдавал меня для продолжения учения; ибо мне не было еще семи лет,—и это была главная причина его снисхождения.

Так прошли две недели, ужасные для матери: во все время приготовления она не осушала глаз, разу-меется, в отсутствие отца, ибо при нем не смела пла-кать. Она оплакала каждую рубашку, каждую вещь, которую укладывала—как теперь помню—в краснень-кий сундучок; под крышкой его приклеена была кар-тина суздальской работы с какими-то ужасными чу-дищами, которые меня очень занимали. Не постигая слез матери, я, очень помню, спрашивал у ней, чего

она плачет? Разве в Белгороде меня всякий день будут сечь? — как видно, для меня ничего ужаснее не было. На что мать, обнявши и прижавши меня к своему сердцу, сквозь слезы говорила: «Ох, дитятко, может быть, и это будет!» При таком известии и у меня потекли слезы; но хорошее яблоко и добрый кусок домашнего пряника тотчас меня утешили.

Все было уже уложено, что казалось нужным для пребывания моего в Белгороде; все было приготовлено, что считалось необходимым для пути, как-то: пироги, жаркое и разные лакомства, чтоб не скучал дорогой (что отец хотя и считал лишним, но, однако, не мешал матери распоряжаться). Так наступил назначенный день для отъезда, в который приглашены были батюшкина сестра из Мирополья с мужем и его братом, т. е. с теми, кого я звал дядя Дмитрий и дядя Абрам (так я называл их и после всю жизнь); бабушка, т. е. мать отца моего, незадолго переселившаяся к нам совсем на житье; в заключение приглашен приходский священник. И когда все были уже налицо, отслужили молебен, потом, как водится, выпили водки, пообедали сытно, затем для такого торжественного дня велели согреть чайник, напились чаю и чашки по две или по три пуншу. Между тем лошади были уже готовы, кибитка подана; но прежде отъезда все уселись по местам, потом встали, сотворили молитву, и началось прощание. Очень помню, что все плакали, что все говорили, чтоб я не скучал

и не шалил, а учился бы хорошо, что родители посадили меня между собой в повозку и что у матери на руках была еще сестра моя Александра, ибо нас было уже двое детей. При всеобщем пожелании доброго пути и при благословении священника мы отправились на ночь в путь.

На другой день мы благополучно прибыли в село Красное, в место моего рождения и, так сказать, в резиденцию господ, о которых я не имел уже никакого воспоминания. Тут мне все было ново. Куча людей бродила без всякого дела; множество детей играло на обширном дворе, которые все были одеты совершенно не так, как деревенские мальчишки, но, по тогдашнему моему понятию, удивительно как хорошо! На них были синие суконные курточки и такие же шаровары. Это возбудило во мне даже зависть, а особенно сообразив это приволье, в котором их застал, и полагая, что они все время только и делают, что играют, тогда как меня везут куда-то и чему-то учиться; да и костюм мой был совершенно другого покроя: на мне был китайчатый синий халат и такие же шаровары, над чем они долго смеялись, да и вообще смотрели на меня как на деревенского мальчика. Все это сделало меня совершенно несмелым и неловким, и я очень чувствовал свое невежество, хотя все дети по книжной части были гораздо ниже меня, потому что они сидели еще за азбукой, в то время как я уже окончил псалтырь. Обо всем этом я узнал на другой

день, когда отец завел меня посмотреть певческую школу. Тут я узнал, что это были мальчишки, набранные в певчие. Отец не пропустил случая так, мимоходом, сказать о моих успехах,—и дети смотрели на меня с удивлением, так как мне не было еще и семи лет, а каждый из них был старше меня по крайней мере двумя годами; а потому по окончании учения стали обходиться со мною поласковее. Когда мы сели обедать в буфете и нам принесли есть с господского стола, что было знаком особой милости, отец между разговором сказал, что завтра мы едем в Белгород, а сегодня вечером будем смотреть оперу «Новое семейство»⁶, которую будут играть музыканты и певчие. Я было пустился в расспросы: что такое опера? Но вместо объяснений он просто сказал: «А вот сам увидишь!» — и потому я это принял равнодушно; я не знал, что в этот вечер решится вся будущая судьба моя.

Теперь я должен сколько-нибудь объяснить случившиеся перемены в доме господ. Во время моего житья в Проходах графиня умерла, и граф остался вдовцом, и с ним две дочери. Не слишком быв счастлив семейною жизнью, он, так сказать, отдыхал и наслаждался жизнью сельскою. И как он имел хороший оркестр музыкантов и порядочный хор певчих, то для разнообразия удовольствий основал домашний театр, чем забавлял детей, которым было от 10 до 12 лет; равно и все дворовые люди утешались этой

забавою, а вместе с тем и сам граф вдвойне наслаждался своей выдумкой. Он так рассуждал, что этим доставит детям забаву, музыкантам занятие, а дворовым людям, которых, разумеется, было очень много, случай провести время полезнее, нежели за картами или в питейном доме. И, признаюсь, впоследствии оправдались его предположения: нигде в тогдашнем веке я не встречал, гораздо позже сего времени, господских людей менее испорченных и грубых.

Не помню, как я провел этот день; думаю, что прорезвился с ребятишками. Вечером отец с матерью взяли меня в театр, как они называли. Но что такое театр? — объяснения на мой вопрос я не получил, а сказано просто: «Дождидайся, сам увидишь!» И вот мы явились в довольно большую комнату, которую, как я узнал после, почему-то называли залом; а равно и другие комнаты имели свои названия, как-то: гостиная, диванная, спальня, буфет, лакейская, девичья и пр. Все это меня очень удивляло, ибо я не думал, чтоб были другие названия, как светлица, комната и кухня. Сколько сведений приобрел я в продолжение двух суток, которые я прожил в резиденции господина моего! В зале нашел я несколько народу обоего пола: одни сидели на стульях, другие разговаривали, стоя у окна. Зала, как казалось, была разделена на две половины разноцветной холстиной во всю ширину комнаты, т. е. начиная от потолка до полу; на холстине были разных цветов полосы: жел-

тая, синяя, зеленая, красная, и все это, как после объяснили мне, домашнего крашения. У самого потолка, немного впереди упомянутой холстины, протянута была еще синяя холстина во всю ширину комнаты, и потом по бокам у самой стены с обеих сторон спущены были такие же холсты, отчего и вышло, как будто разноцветная холстина была в синей рамке. Что там с нею делалось? — оставалось для меня тайною. Между занавесом (так называли разноцветную холстину: мне это скоро объяснили) и первым рядом стульев — надобно заметить, что их было всего три ряда, — стоял довольно длинный стол-не стол, бог знает что такое, сделано из досок, на высоких, но совсем не таких, как у стола, ножках: у стола их обыкновенно четыре по углам под верхней доской, а тут как-то чудно! Так как этот странный стол был очень длинен и узок, то хотя под ним и были четыре ножки, но какие-то широкие, как будто ножка сделана из целой доски, и поставлены не по углам, а расставлены под верхней доской поперек стола, одна от другой расстоянием на аршин или с чем-то. Ножки эти были более похожи на козлы, которые употребляются на подмостки при строении; но и там у каждого козла тоже четыре ноги. Одним словом, я никак не мог понять, что это такое, тем более, что вместо гладкой верхней доски сделано было что-то удивительно мудреное: т. е. несколько узеньких дощечек во всю длину стола были как-то скреплены между собою и были

гораздо выше верхней доски — с довольной косиной, так что если б его покрыть чем-нибудь, то все это походило бы на длинный церковный палой, на котором дьячок в церкви читает, только откосы были со всех сторон — и с длинной и с узкой. На некоторых местах этих откосов положены были тетрадки, очень странно излинованные и, что всего страннее, линованные чернилами, и когда я рассмотрел поближе, то увидел, что это не просто линейки, а что-то другое: тут сначала пять линеек — одна подле другой близко проведены так, как будто бы составляли одну пятилинейную линейку, потом отступя опять такие же пять линеек, и так до конца всего столбца в подобном же порядке; да и линовано совершенно не так, как обыкновенно делается, т. е. не поперек, а вдоль страницы. Мне очень хотелось узнать: что это, для чего это? И к тому ж я заметил: на пятилинейных линейках понаставлены чернилами какие-то точки, очень похожие на узелки, что бывало вышивают на воротниках у рубашек; к некоторым точкам приписаны хвостики, иногда с крючком, иногда же несколько хвостиков вместе перечеркнуто чернилами — в ином месте раз, а в другом и два и три; в некоторых местах и точка перечеркнута, если она поставлена выше или ниже пяти линеек, а иные точки, хотя тоже стоят выше или ниже их, а не перечеркнуты. Все это приводило меня в тупик. Между тем музыканты одни рассматривали эти тетрадки, другие настраивали скрипки: это уж

я сам догадался, ибо я видал не однажды играющего на скрипке музыканта, который приезжал к нам иногда в Проходы из Говтаревки. Только я тут увидел такие скрипки, что и не знал, как на них будут играть; это были бас и контрабас. Потом бросились мне в глаза такие инструменты, о которых я и не слыхивал; а особливо волторны и фаготы поразили меня своими формами. Флейты и кларнеты не произвели на меня никакого впечатления: они мне казались такими же дудками, какие я уже видал у крестьян, а только сделаны из господского дерева, т. е. из хорошего. Все это, т. е. необычайно разгороженная комната, этот занавес в рамке, этот стол удивительный, тетрадки с точками, скрипки маленькие и большие, дудки разных манеров и ужасная волторна — так закружили мою едва семилетнюю голову, что я смотрел во все глаза и, кажется, ничего не видал. Вдруг сделалась маленькая суматоха, в которой только и слышно было: граф!.. граф!.. Какое-то невольное чувство страха ощутил я в это время: из боковых дверей вышел среднего роста мужчина, довольно полный и красивый, лет за сорок; подле него вели двух девочек — одной было лет десять, а другая помоложе. Тут отец взял меня за руку и представил графу, который погладил меня по голове и в знак особой милости дал мне поцеловать свою руку, ибо он этого вообще не любил. Потом заставили меня поцеловать ручки маленьким графиням и велели посадить меня между

ними, а отец и мать стали позади нас и беспрестанно мне шептали: «Не бойся, Миша, не бойся!» Я воображаю, с какой миной сидел я между барышнями — точно медвежонок, потупя голову, и если бы не подошел мне на помощь хороший кусок пряника, который дала мне одна из маленьких графинь, то, я думаю, что, невзирая ни на что, я заревел бы во все горло. Я никогда не слыхал от отца, что при господах можно сидеть, а тут сижу между барышнями очень сконфуженный; но пряник придавал мне бодрости, и я исподлобья начал, как волчонок, выглядывать на обе стороны.

[II. УЕЗДНОЕ УЧИЛИЩЕ В СУДЖЕ И КОМЕДИЯ «ВЗДОРЩИЦА»]

Лет пятьдесят назад⁸ в Судже, уездном городке Курской губернии, один из учеников принес в класс книгу под названием «Комедия Вздорщица». Это привело моих товарищей в большое недоумение; все наперерыв спрашивали один другого, что такое это комедия? Я, увидевши один раз игранную оперу, толковал им, что это не что иное, как представление, т. е. что несколько человек, выучив каждый какое-нибудь лицо в комедии и потом соединясь вместе, могут сыграть так, как будто бы все написанное в комедии происходило на самом деле перед глазами зрителей.

Разумеется, этому никто не поверил, и, как следует, надо мной же стали подшучивать. Это так меня оскорбило, что я решился доказать им, что я не врал и что их насмешки можно отнести к их же невежеству. Господи! какой содом вышел из этой комедии! Все решительно восстало на меня: один называл меня хвастуном, другой — самохвалом, третий... Одним словом, не скупилась на титулы. Так как в числе учеников, восставших на меня, были и такие, которые учились гораздо лучше меня, то я, не бывши точно уверен, можно ли и комедию играть так, как виденную оперу, мысленно начал робеть и сомневаться. Со всем тем я спорил до-нельзя. Сторона моя была слабейшая, и потому я подкреплял себя криком, который, наконец, и разбудил учителя, спавшего в соседней комнате (училище помещалось в его собственном доме). В самый разгар общего крика отворилась дверь, и все окаменели, увидавши невыспавшееся лицо учителя, которое очень ясно выражало гнев. Каждый как будто читал в его глазах и почти был уверен, что первым его словом будет: «Подать розог!» Но я не допустил его выговорить это роковое слово и с видом оскорбленного самолюбия, даже со слезами, принес ему жалобу. «Помилуйте, И. И. ⁹, рассудите нас; на меня напал весь класс и смеется надо мной за то, что я об этой книге *Комедия Вздошница* (не знаю, почему, она все еще была у меня в руках) сказал, что ее можно играть так, как будто бы все это

не написано, а в самом деле случилось». Разумеется, все это было высказано с жаром, который совершенно угас, когда учитель, выслушав жалобу и доказательства моей правоты, громко захохотал. От стыда и досады я был ни жив, ни мертв, а взгляды товарищей еще более меня уничтожали. Когда же учитель, насмеявшись вволю и оборотившись к моим противникам, сказал им: «Дураки вы, дураки! Как же вы спорите о том, чего не знаете? Щепкин прав: это точно комедия, и ее можно сыграть так, что другие примут за действительность». И тут же он прибавил, что есть еще драмы, трагедии и оперы, которые точно так же можно играть, и что по этой части в Москве есть очень хорошие актеры, как-то Ожогин, Шушерин¹⁰ и многие другие. Посмотрели бы вы тогда на меня, с какой гордостью стоял я, и как уничтожились мои бедные товарищи... Знаете ли, мне было даже стыдно за них: как! спорить о том, чего не знаешь! А ведь и сам бил напропалую, защищая свое мнение. Эта комедия сделала большую перемену в предстоящих нам часах учения: в продолжение целого класса учитель беспрестанно возвращался к одной и той же мысли, и что бы ни толковал он, а кончал или комедией или трагедией. В первый еще раз у него в классе не было скучно; не знаю — отчего? Оттого ли, что в его преподавание ворвалась совершенно новая мысль и новостью своею сделалась интересна, или он сам впер-

вые нарушил обыкновенный образ своего чтения и вместо мертвых слов познакомил нас с мыслью. Одним словом, мы не скучали в классе, нам было весело; мы как будто вдруг поумнели, и даже нам сделалось скучно, когда звонок пробил об окончании класса; по крайней мере так было со мною. Но представьте же себе нашу общую радость, когда учитель, сходя с кафедры, обратился к нам с следующей фразой: «Вот, дураки! вместо того, чтобы бегать по улицам да биться на кулачки или другими подобными занятиями убивать время, не лучше ли было бы, если бы вы разучили эту комедию да перед ропуском на масленице сыграли бы ее у меня; а времени, кажется, не мало: по середам и субботам после обеда классов не бывает, за неимением рисовального учителя. Так вот сошлись бы да и сладили бы хорошенько. Только с уговором — не шуметь!»

Нельзя было описать нашего восторга, и мы все в один голос закричали: «Если вы это позволите, то мы сейчас же эту комедию разучим». Точно будто все могли играть в ней! В комедии было всего восемь лиц¹¹, а нас в классе было обоого пола до шестидесяти человек. Однакож, как бы то ни было, каждый, выходя из класса, выносил с собою мысль, что он играет в комедии, и, подпрыгивая, дорогою объявлял об этом встречным ребятишкам; никому в голову не приходило, что всем играть невозможно; так поразила нас эта радость, и мы все шли дружно и весело.

Даже те, которые спорили, что комедия не то, что я говорил, даже те как-то добродушно сознались, что они несправедливо спорили со мной, что они точно не знали, что такое комедия, а только хотели поддразнить меня за то, что я будто бы хотел показать себя умнее других. Словом, мысль, что мы играем в комедии, овладела всеми, сделала нас как-то добрее, и, верите ли, мне отчего-то было совестно, что они извинялись передо мной. Вот какие чудеса наделала «Комедия Вздорщица»! Из самых вздорных, буйных ребятишек сделала, хотя на несколько минут, кротких, милых и добрых. Каждый из нас, возвратясь кто в дом родителей, кто на квартиру к своему хозяину, с радостью сообщал новость, что он играет в комедии: один — отцу и матери, другой — хозяину с хозяйкой и даже кухарке. Одним словом, у каждого знал весь дом, что он играет в комедии, но что и как? — этот вопрос еще никому не приходил в голову.

Когда прошли первые мгновения восторга, мне пришло в голову, что очень легко может случиться, что я не буду играть. Эта мысль очень прохледила меня, и я порядком приуныл. Думаю себе: «Как же это? Всем играть невозможно; как же это будет? Кто же укажет, кому именно играть? Вероятно, будут назначать старшие ученики, и, очень легко может случиться, мне не дадут никакой роли. Много есть детей дворян, чиновников, купцов, мещан, которые все далеко выше моего звания, и эти дети, вероятно, будут предпочте-

ны». И, рассуждая с сестрой, я горько жаловался и говорил, что это будет совершенная несправедливость. Все в короткое время изменилось; вместо радости тоска и чувство унижения чрезвычайно тяготили меня, хотя какой-то луч тайной надежды мелькал в голове моей, что, может быть, и я буду играть. В самом деле, я был один из лучших учеников, кроме двух, да и их преимущество состояло, кажется, в том, что они уже третий год сидели в последнем классе, а я только всего полгода. В знании же они недалеко уходили от меня, потому что мы все равно ничего не знали.

Итак, я жил надеждою и уже воображал, как хорошо буду играть. Тут я начал припоминать оперу «Новое семейство», которую, как уже сказал, видел в детстве, и припомнил ее всю; она так живо возобновилась в моей памяти со всеми подробностями, которые меня тогда занимали, все лица этой оперы так живо предстали передо мною, что я чуть не плакал от удовольствия. А в чем состояло это удовольствие, что это было такое, я сам не мог дать себе в этом отчета; только мне было так хорошо, хотя изредка и щемила мое сердце мысль: а ну, как я не буду играть в комедии!

На другой день все объяснилось, и для меня весьма выгодно. Отправясь в обыкновенное время утром в училище, мы увидели с сестрой на первом перекрестке двух учеников, которые преисправно таскали друг друга за волосы, приговаривая: «Врешь,

ты не будешь играть, а я буду!...» — «Нет, ты не будешь, а я буду! третьего дня учитель был у нас в гостях, и батюшке стоит только слово сказать, я и буду играть...» — «А все-таки не будешь: моя матушка отнесла ему вчера гостинца полпуда меду; она только слово пикнет, и я буду непременно играть!» Когда же мы пришли в школу, там был просто содом; только и слышно было: «Я буду, ты не будешь! нет, ты не будешь, а я буду!» А эти уверения подкреплялись иногда такими фразами, которые не совсем приличны были ни месту, ни возрасту.

Приход учителя все прекратил, и на строгий и суровый его вопрос, почему мы не на своих местах, большая часть примолкла; некоторые, в том числе и я, отвечали, что мы толковали о том, кому играть в комедии, что все желают, но что лиц в комедии только восемь и в том числе три женских. Учитель подумал, потер себе рукою лоб и сказал: «Подайте сюда книгу! я сам назначу, кому играть!» — и, отметивши своей рукой в книге, прибавил: «Я назначил тех, кто лучше учится; это им в награду, а лентяям это будет наказанием». Когда прочли назначение учителя, и я услышал, что слугу Розмарина буду играть я,— я обеспамятел от радости, кажется, даже заплакал. Женские роли назначены были учащимся девицам, но почтенные родители, сановники и супруги, восстали против этого: «Как, дескать, можно, чтобы наша дочь была комедиянткой!» — и учителю пришлось

было плохо. Наконец, кое-как все уладили. Старуху и служанку играли мальчишки, а любовницу¹² сестра моя: ее можно было заставить играть. Дело пошло на лад. В первую среду сошлись толковать, как выписать каждому свое лицо и как сделать, чтобы он знал, когда ему говорить. Много было толков; наконец, и это уладили и даже выписали почти так же, как теперь пишут роли, только с маленьким излишеством в репликах. Эта выдумка была собственно моя, и ее одобрили. Через неделю каждый выучил свою роль. Когда мы в субботу сошлись и начали пробовать, то как-то не ладилось, и мы решились, когда проснется учитель, просить его показать нам: как это сделать, чтоб каждый знал, когда ему говорить. И учитель объяснил нам, что нужно-де, чтобы кто-нибудь подсказывал по книге, и все пошло как по писанному. С каждою репетициею все шло тверже и тверже; я свою роль читал с такою быстротою, что все приходило в удивление, а учитель приговаривал, улыбаясь: «Ты, Щепкин, уж слишком шибко говоришь, а впрочем, хорошо, хорошо»¹³.

Наконец, настал давно желанный день. Из классов вынесли скамейки и комнату разделили пополам: одну половину усталили стульями, а другая служила сценой; за нею повесили полог с кровати, вроде задней занавесы, из-за которой мы и выходили. Учитель пригласил все городские власти: городничего, судью, исправника и прочих, кроме того, семейства

всех участвовавших в комедии. Надо сказать, что для некоторых это было совершенно неожиданно, особенно для властей, и, сколько помню, когда учитель сделал приглашение городничему, то он немного изумился и даже сделал вопрос: не будет ли в этом представлении чего-нибудь неприличного? Но когда учитель уверил, что за исключением барыни, которая бьет свою девку башмаком, нет ничего такого, «Ну, в этом нет еще ничего предосудительного!» — сказал городничий.

В пять часов вечера собрались зрители. Актеры оделись кто как мог поопрятней, поумылись, причесались; играющие женские роли, разумеется, были одеты, смотря по содержанию роли: сестра была в белом платье, с ленточкой на голове, в башмаках на высоких колодочках. На мне был длинный сюртук и розовый платок на шее.

Посетители уселись, и началось представление. Вначале я как будто струсил, но потом был в таком жару, что себя не помнил, и чувствовал какое-то самодовольствие, видя, что быстрее меня никто не говорит. Посетители были очень довольны, хлопали напропалую, а городничий изредка одобрял словесно: «хорошо, лихо!» и тому подобными восклицаниями. По окончании пьесы нас всех подозвали и начали расхваливать; а родители игравших осыпали детей поцелуями и потом стали изъявлять благодарность учителю за то, что поместил их детей в число играющих. Городничий и исправник были в полном удо-

вольствии и говорили, что они никак не ожидали, чтобы все было так хорошо. Так и кончился день, для меня весьма памятный; но мне предстоял еще другой, гораздо торжественнее этого.

Возвратясь на квартиру в пьяной радости, мы пересказали всем живущим в доме, как нас хвалили, и к большей еще радости узнали, что отец прислал за нами лошадей, потому что на масленицу распускали учеников. Ночь проспал я, разумеется, славно; во сне все грезился мне спектакль, что будто я играю, что совсем не знаю роли, что я одет бог знает как — неприлично, и тому подобное. На другой день пошел я к учителю проситься в отпуск. Дорогой забежал к двум-трем товарищам рассказать им мимоходом, как меня все хвалили. Когда я пришел к учителю и объявил ему мою просьбу, он отвечал, что отпустить меня не может с сестрой раньше четверга, потому что городничий просит, чтобы комедию сыграли у него в доме в среду: в этот день он, по случаю бракосочетания дочери своей, вышедшей за откупщика Д., дает молодым обед; гостей будет много, и он хочет этим, что называется, потешить весь город. Я был вне себя от радости; но вместе с тем показывал, что это ставит нас в затруднительное положение, что за нами присланы лошади, что держать их до четверга нет никакой возможности, потому что нечем кормить. Учитель подумал и, к удовольствию моему, уничтожил это затруднение. «Ты,—сказал он,—отпусти лоша-

дей и напиши к отцу, по какому случаю вы оставлены, а я скажу городничему, он возьмет у исправника предписание, и вы поедете на обывательских. А между тем соберитесь завтра да прорепетируйте комедию, чтобы еще подтверже было; а то вот К. чуть было не остановился во время представления; хорошо, что он играл дурака, так это ничего, а то бы просто срам да и только!»

Получив от учителя разрешение на такой затруднительный вопрос по случаю поездки и выслушав наставление касательно репетиции, я вышел от него с ужасною гордостью: я видел, что я необходим, что без меня спектакль не пойдет, и городничий и город будут лишены удовольствия, и что все это зависит от меня, как будто бы я один и играл всю пьесу. Разумеется, первым делом моим было обегать всех, кто участвовал в пьесе, и повестить их, чтобы завтра они собирались к учителю на репетицию, что мы играем комедию в среду в доме городничего, по его усиленной просьбе, что за мною с сестрой прислали было лошадей, но учитель упросил меня остаться до среды и лошадей отпустить, потому что мне дадут предписание и что я поеду на переменных, и прочее. Кроме того, я забегал к некоторым товарищам, не участвовавшим в представлении, и им, как следует, мимоходом было рассказано то же самое, только с разными вариациями.

По приказанию учителя лошади были отпущены,

и я написал к отцу о причине, по которой мы остались до четверга: В четверг к обеду, писал я, мы будем непременно, потому что поедем по предписанию на переменных, а теперь никак не можем ехать — без нас спектакль не может быть сыгран.

Два дня делались репетиции, на которых присутствовал сам учитель и беспрестанно повторял: «Хорошенько, дети, хорошенько! Чтоб не осрамиться!» Он велел в среду собраться в доме уездного секретаря, сын которого играл в комедии, поопрятнее и поприличнее всем одеться, а часа в четыре отправиться в дом городничего, который был недалеко от дома секретаря.

Праздник, который давал городничий для своих молодых, привел в волнение весь город. Народ на рынке и в особенности торговли толковали, что праздник будет знатный, что, как слышали они, даже плошки заказаны, что музыку привезли от подгородного помещика, что цыганы будут плясать и даже будет какая-то комедия. И пошли толки по всему рынку. Что за комедия? Кто будет играть? Одни толковали, что приезжие штукари будут глаза отводить, т. е. вот, например, покажется вдруг, что вы по колени в воде, и вы из предосторожности подымете платье, чтоб не замочить его, ан глядь — и нет ничего, и разные другие будут мороченья. Другие говорили, что все это вздор, что они точно слышали от учительской кухарки, что учитель целый год учил де-

тей играть комедию и что она уже играна в прошлое воскресенье. И много других было предположений. С рынка новость эта перенесена была в дома, которые еще не знали о ней, так что в среду весь город был на ногах. Бегали, суетились, сообщали друг другу свои догадки — словом, болтовне не было конца. Уже с полудня начали стекаться к дому городничего толпы народа, а к четырем часам к нему не было уже никакого прохода. Жена секретаря принуждена была послать в полицию просить квартального провести детей, которые будут играть комедию. Вскоре появился квартальный с двумя будочниками, и мы, под охранением сей стражи, отправились к дому градоправителя. С большим трудом провели нас сквозь толпы народа. Когда мы прибыли в дом, гости были уже в порядочном разгаре, потому что пошли в ход стаканы с пуншем: шум, говор, смех оглушили нас, так что мы, или по крайней мере я, порядочно струхнули: как играть перед таким множеством народа и пред такими лицами? (на этот раз уже были и предводитель дворянства, все заседатели и даже нарочный из губернаторской канцелярии). Когда дали знать учителю, что мы пришли, он шепнул городничему. Городничий крикнул довольно замысловато и, обратясь ко всем, сказал: «Ну, дорогие гости, теперь я вас угощу тем, чего еще никогда здесь не бывало, и как стоит город наш, такого чуда еще не бывало, и все вот по милости моего приятеля,— при этом он

указал на учителя.— Вот такую штуку состроил из детей, что просто животики надорвешь! Итак, милости просим садиться». Расставили стулья и уселись; а те, которым не достало места, смотрели из гостиной в двери. Мы должны были выходить из лакейской, набитой битком музыкантами и лакеями, а в зале оставлено было для нас так мало места, что играть пришлось перед самым носом гостей. В первом ряду, разумеется, сидели первые сановники с дамами, которые составляли аристократию этого города.

От начала до конца пьесы хохот не прерывался, хлопали беспрестанно, — одним словом, такой был шум, что нас, я думаю, и наполовину не слышали. По окончании же пьесы все гости наперерыв осыпали нас похвалами; дамы всех целовали, а сам городничий, притопывая ногой, кричал: «Славно, дети, славно! Спасибо, И. И., то есть вот как одолжил! Ну, дети, на масленую вам рубль денег... да подайте им большой пряник, что вчера принесли мне!»

Рубль медных денег тотчас же был вручен одному из игравших в комедии. Когда же принесли пряник, удививший своей величиною (в нем было, по крайней мере, аршина полтора длины и аршин ширины), городничий потребовал нож и на круглом столе собственноручно разрезал пряник с математической точностью на восемь кусков и каждому игравшему вручил следуемую часть. Притом, целуя каждого, приговаривал: «Хорошо, плутишка!» Меня же для отли-

чия от прочих, согласно моему званию, погладил по голове, потрепал по щеке и позволил поцеловать свою ручку, что было знаком величайшей милости, да прибавил еще: «Ай да Щепкин! Молодец! Бойчее всех говорил; хорошо, братец, очень хорошо! Добрый слуга будешь барину!» После чего велено было нас отпустить. С трудом отыскавши свои шубенки, уже без проводников, пустились мы сами прочищать себе дорогу сквозь толпу любопытных и очутились в крайнем затруднении. К счастью, кучер городничего закричал: «Пропустите, толкачи проклятые! Это дети, которые играли комедию». В этих словах было что-то магическое: толпа раздвинулась и даже помогла нам пройти, толкая друг друга. Некоторые из очень любопытных проводили нас даже до дома секретаря, куда отправились мы, чтобы разделить жалованный капитал. Оттуда разбрелись все по своим домам.

Я был в таком чаду, что мне все казалось сном, и если бы не огромный кусок пряника и не двадцать пять копеек, доставшихся мне с сестрою по разделу, если бы не эта сумма, слишком громко звеневшая в заднем кармане сюртука моего при каждом моем движении, то я точно усомнился бы в действительности. Что тогда было у меня на мысли, что меня волновало, я не могу выразить; только мне было так хорошо, так весело, что и сказать нельзя. Говорили, что к светлому празднику хотели разучить еще комедию; но это не состоялось, потому что не отыскалось

другой комедии или, что всего верней, потому что от игранной комедии расстроился весь город, и учителю было не очень ловко. Родители детей, не участвовавших в пьесе, сильно оскорбились, что их дети обойдены; между тем они везде громко кричали, что сами своим детям не позволили играть, хотя учитель и хотел поместить их, что, дескать, как можно детей благородных отцов занимать такими мерзостями, и что как те отцы одурели, что позволили детей своих сделать скоморохами; дело другое дети Щепкина; ну, их и род уж такой! Из них все, что хочешь, делай, и что-де надо довести до высшего начальства, чтобы лучше учили детей, а не делали их лицедеями. От тех или других подобных сплетней или за неимением комедии, только спектакль другой не состоялся.

Получив два предписания для получения лошадей: одно от городничего в волостное правление, а другое от исправника в заштатный город Мирополье, который был нам по пути, я с величайшей гордостью отправился за ними в волостное правление и, представляя предписание, покрикивал, чтобы скорее давали лошадей. По получении их я приехал на квартиру, уложил свое имущество и с особенным тщанием завернул пряники, которые мы решились сохранить в целости и как трофей торжества нашего представить отцу и матери, а в знак бережливости привезти в наличности жалованье — двадцать пять копеек.

Таким образом, посадили или, лучше сказать, уло-

жили нас в сани, завернули в бараньи тулупы сверх наших шубенок, которые обыкновенно зимою из дому присылались, чтобы не переморозить нас (отпуская присланных от отца лошадей, я догадался удержать их), и мы с сестрой, наконец, отправились на тройке обывательских лошадей. Проезжая по городу мимо знакомых домов, я покрикивал: пошел!.. Выехав за заставу, тоже изредка покрикивал. Дорогой пришло нам на мысль заехать в Александровку к Шеповалке и рассказать ей все, что было, и показать куски пряника, чему она будет очень рада и накормит нас бубликами и медом. Надобно знать, что Александровкой назывался хутор, в числе других имений находившийся под управлением отца моего, куда мы хотя изредка в вакантное время езжали с матерью на нашу пасеку, которая там находилась, и во время приездов всегда останавливались у Шеповалки (тут-то мы познакомились с ее бубликами, которыми она прославилась). Только вот беда, надо было свернуть в сторону с лежащего пути: поедет ли мужик в сторону? А между тем, во время таких размышлений, мороз с ветром начали нас сильно пронимать; как ни тщательно закутали нас в тулупы, но дорогой от ухабов все это раскрылось, и бедные актеры, забыв все, принялись горько плакать; мужик обернулся к нам, поглядел на нас, покачал головой и прехладнокровно сказал: «От же дитва замерзне!» Тут только изъявили мы свою просьбу завезти нас в Александровку

отогреться, и обещали, что ему там дадут пообедать и что лошадям сена дадут, что Александровка наша и что я все это прикажу. Не знаю, это ли убедило малороссиянина или ему просто жаль нас стало, только он решился исполнить просьбу нашу, сказав: «Ну, добре, хлопци, тилько постривайте, я вас заверну хорошенько кожухами, та лежить, не ворочайтесь; а то щоб и вправду не замерзлы. Бачь, як дере мороз!»

Исполнив сказанное, он присвистнул на лошадей, и через полчаса мы были на месте. Шеповалка выбежала, втащила нас по одиночке в теплую светлицу, окостенелых от холода и всхлипывающих. Мы объяснили ей, что мы совсем замерзли, что мы играли комедию, что едем на обывательских, что нам подарили два куска пряника и двадцать пять копеек денег, и все это было высказано со слезами и дрожа всем телом. «Да ну же мовчить, диточки! Перше отогрійтесь, а тоди уже розскажете». И, сняв с нас шубенки и сапоги, положила нас на печь прямо в горячее жито, которое было насыпано для сушки; оно приняло нас, так сказать, в свои теплые объятия. Мы очень скоро отогрелись, а особливо, как она подала нам горячего молока, а на закуску бубликов с медом. Когда пот градом валил с нас, мы свесили головы с печи и, наконец, рассказали хозяйке все наши подвиги, разумеется, с украшениями. Трудно было ей втолковать, что такое комедия; да к тому же ей, я думаю, трудно было и понять нас, потому что мы с сестрой гово-

рили оба вдруг, так что нас и разобрать нельзя было. Из всего рассказанного она заключила, что мы очень умные дети; подводчик был накормлен, лошади его тоже; Шеповалка прибавила нам на дорогу еще овчинный тулуп, и мы отправились в Мирополье, где должно было менять лошадей и где жила наша родная тетка, бывшая замужем за миропольским мещанином. Не стану описывать, с какою важностью рассказывали мы тетке о наших подвигах и с какою гордостью дядя ходил с предписанием в волостное правление и вытребовал лошадей, потому что все это было в том же тоне, а расскажу прямо приезд наш домой. Мать выбежала, прислуга тоже, внесли нас в комнаты; мать плакала от радости, отец пресерьезно позволил себя поцеловать, сказав: «Что? промерзли! сами виноваты, почему тогда не поехали; в повозке было бы теплей. Да что ты врал в письме? какую ты там играл комедию?» Я было хотел уже рассказывать, но он остановил: «Ну, ну! после расскажешь, а теперь отогревайтесь; да напой их чаем, Маша! видишь, как продрогли». Это меня очень удивило: не в первый раз нас привозят продрогших, но чаем никогда не поили: что ж бы это значило? Этого я не мог решить; но нетерпение удивить отца и мать своими подвигами заставило меня во время питья чая все рассказать: все объяснили — и как мы играли, и как нас хвалили, и что нам подарили двадцать пять копеек и два куска пряника. Тут отец, шутя, улыб-

нулся, потрепал меня по щеке и сказал: «Ну, пей чай, да повтори, что ты там играл; я посмотрю, брат, каков ты молодец». Признаюсь, я был рад, что он вызвался меня послушать; думаю: покажу же я ему себя! Уж когда городничий и прочие дворяне довольны были, так уж человек его звания еще более будет доволен, и я с восторгом ожидал минуты испытания.

Надобно вам сказать, что отец мой, на мою беду, лет по несколько жил в Москве и в Петербурге, не один раз бывал в театре и, разумеется, видал лучших артистов того времени и даже, по его словам, видал спектакли в Эрмитаже; все это объяснилось для меня уже после. Когда дошло до дела и я начал болтать свою роль с ужасной быстротой, отец расхохотался, а мать от радости плакала, видя в сыне такую бойкость. Я же, приметив, что произвожу такое действие, еще быстрее и промче пустился работать и с самодвольством подмигивал сестре: дескать, знай наших! Пусть, дескать, отец увидит, каков я; не станет уже беспрестанно ворчать! Все это толпилось в голове моей во время хохота отца; но судите же мое удивление, когда отец остановил меня: «Ну, ну! — говорит, — довольно; и вы все так играли?» — «Все, — отвечал я, — и я лучше всех!» — «И вас хвалили?» — «Хвалили». — «И учитель был доволен?» — «Очень доволен!» Тут отец едко усмехнулся и примолвил: «Дураки вы, дураки! за такую игру и вас всех и учителя выдрать бы розгами!»

[III. УЧЕБНЫЕ ГОДЫ]

В 1801 году привезли меня в Курск¹⁴ и отдали в губернское училище, которое состояло из четырех классов, и по экзамену меня приняли в 3-й класс. Это было в первых числах марта, и хотя до переходного годичного экзамена, который бывал обыкновенно в первых числах июня, оставалось немного времени, но я успел догнать всех своих товарищей, что, впрочем, было очень нетрудно, потому что все учение основывалось тогда на одной памяти. Все науки, исключая математику, закон божий и церковную историю, диктовались учителем в виде вопросов и ответов в следующей, например, форме: Вопрос. «Какая была причина войны троянской?» Ответ. «Причина была следующая: потомки Пелопсовы, усилившись в разных странах Пелопонеса, не могли забыть обиды, которую учинили трояне предку их Пелопсу лишением его владения во Фригии и изгнанием из оной. Сверх того, приметили греки, что они будут иметь препятствие в плавании по Черному морю, пока трояне в силе своей пребудут, почему и ожидали только случая объявить войну троянам». Такие вопросы и ответы ученик должен был выучить слово в слово, и, боже сохрани, если кто из учеников осмелился бы изменить фразу и сказать своими словами: такого ставили на замечание, как нерадивого и невнимательного. Таким образом, при моей памяти¹⁵ мне было

легко стать не только на ряду со своими товарищами, но даже и выше, так что на экзамене я оказался первым учеником и получил в награду книгу: «О должностях человека и гражданина», с надписью «За прилежание». Так как в училище поступил я в конце года, то все, что было пройдено до меня и записано по диктовке учениками, я доставал у кого-нибудь из товарищей; брал, обыкновенно в субботу, записки из какого-нибудь предмета и в понедельник возвращал, изучив их слово в слово; за такое одолжение я помогал товарищам в рисовальном классе составлять краски и владеть искусно кистью. Таким образом, на будущий учебный курс меня перевели в 4-й класс, где уже прибавились языки немецкий и латинский. Последним я занимался немного еще в Белгороде у священника; а немецкому учили нас по книге, называемой «Зрелище вселенной», с немецким и латинским текстом и с русским переводом. Но это учение продолжалось недолго: с восьмьсот второго года народное губернское училище приготавливалось уже к переименованию в губернскую гимназию, в которой прибавился класс французского языка. К моему несчастью, крепостным людям не позволялось быть в этом классе; это меня так оскорбило, что я не стал ходить ни в немецкий, ни в латинский классы.

В 4-м классе словесность преподавалась в современной форме; затем: всеобщая и русская история,

география, естественная история, из математики — вторая часть арифметики, геометрия и также часть механики, архитектуры и физики. Из трех последних нас знакомили, конечно, только с начальными основаниями; так, мы узнали, например, что такое астролябия, компас, рычаг, блок и ворот, что такое колонна, карниз и модуль, но не более. Словесные науки и исторические, кроме церковной истории и закона божия, преподавал П. Г. К., а математические — С. А. Зубков. У первого было любимое слово в обращении к какому-либо из учеников, именно слово — рокалия, с произношением на о; оно служило ему и в изъявлениях ласки и на случай выговора. Сколько припоминаю, он отличался разными назидательными для учеников наставлениями, так, например: «Когда тебе, рокалия, предлагают на экзамене вопрос, и ты его не знаешь, то вместо его отвечай из той же науки, что знаешь; тогда подумают, что ты не вслушался в вопрос, а не то, что ты не знаешь его». И много было у него подобных родительских наставлений. Этот же учитель словесности заведывал и рисовальным классом, за неимением учителя рисования, и здесь также не обходилось у него без некоторых нравственных наставлений; так, например, при начале урока он отправлял обыкновенно всех учеников в 3-й класс, окна которого выходили не на улицу, а на училищный двор, и где срисовывать на стекло было поэтому не предосудительно. Срисовка на стекло де-

далась, по его словам, для скорости, а перемещение учеников в 3-й класс для того, «чтоб проходящие не могли подумать,—как говорил он,—что я вас так и учу», а всем известно было, что он и карандаша не умел держать как следует и занимал этот класс только из-за прибавочного жалования. И если случилось ему заметить, что кто-нибудь из учеников, поторопясь при съёмке на стекло, сделает ошибку, и он решался поправить ее карандашом от руки, то такая поправка сохранялась как редкость; ученик в другой раз снимал рисунок на стекло, а поправленный оставался как документ неискusstва учителя. Арифметику преподавали нам очень недурно, но, к несчастью, учитель часто бывал в веселом расположении, или просто навеселе, и ученики этим пользовались; так, бывало, когда он только что появится в класс и мы заметим его веселость, то прежде, чем успеет он дойти до учительского стола, кто-нибудь из учеников подбежит к нему со следующей, например, жалобой: «Как же, С. О., Щепкин говорит, что пушки в полтавском сражении не так были поставлены, как вы рассказывали?» или что-нибудь подобное, только бы речь шла о полтавской битве. Он был жаркий почитатель Петра Великого, и полтавская битва была для него выше всех происшествий мира сего. Первым словом его на это бывало: «Почему он так говорит? Потому, что он дурак, и я ему, дураку, это докажу!» — и тут же, бывало, возьмет мел, подойдет к доске и начнет чер-

тить план сражения со всеми подробностями: где стояла наша пехота, где кавалерия, где казаки, где артиллерия, с поименованием всех начальников, кто чем командовал. Потом начертит план, как стояла армия Карла XII, тоже со всеми подробностями. «Ну, вот видите, дураки! Вот как это все было на самом деле», и, переведя дух, начнет, бывало, говорить о начале сражения, и тут одушевление его уже не имело пределов. Рассказывал все это он с величайшими подробностями и несколько раз прибегал к такому обороту: «Карл, видя, что дело не подается в его пользу, вдруг выдумает штуку и выкинет такой чертовской маневр, что нам точно было плохо; но батюшка, великий государь Петр, который, находясь вот здесь,—и укажет тотчас место на доске,—все это видел, на его маневр так скомандует и такую поднесет ему штуку, что все его хитрости ему же на пагубу». И все это объяснял он с величайшею душевною теплотой, не забывая ни одного движения, ни одного лица, кто где отличался в этот достопамятный для России день. Но когда доходил до места, где был страшный бой, где обе стороны поставлены были в положение умереть или победить, тут он заливался горячими слезами и со страшным энтузиазмом говорил, что «батюшка Петр тут показал себя, что он такой человек, какого еще не было, и матушка Россия ему сочувствовала в этом великом деле: Карл разбит, этот современный герой, на которого Европа

смотрела, как на великого полководца, пал ниц и утратил в полтавской битве всю свою славу, приобретенную годами. И на самом этом месте, где была страшная бойня, возвышается могила, под которой похоронены тела убитых; это — огромного размера холм, теперь уже умалившийся от времени, и на нем стоит великий памятник великого дня; памятник этот есть не что иное, как святой крест большого размера, который и будущим векам укажет, что такое был для России богом данный великий Петр!» Как рассказ такой продолжался довольно долго, то этим обыкновенно и оканчивался класс: «Ну, дети, заговорился я с вами; тройное правило начнем в следующий раз...» — и это повторялось довольно часто.

Преподавателя закона божия и церковной истории, который был протоиереем из прихода Смоленской божией матери отец З., я мало помню; кажется, я редко ходил в его класс, потому, что, живши в Белгороде, у очень умного священника, я знал все по этим предметам в той форме, как тогда преподавалось: знал все библейские происшествия, имена всех пророков, все замечательные эпохи, знал хорошо Давида, со всеми эпизодами его царствования, а псалтырь его читал наизусть; одним словом, я очень силен был в древней священной истории, а из новой знал имена всех евангелистов, апостолов и прочих распространителей христианской церкви, и на репетициях, перед

экзаменом, отец З. ставил меня всегда в пример ученикам: «Вот вы занимались бы, как Щепкин, вам и не было б так стыдно»; а того он и не замечал, что я редко бывал в классе, а только спрошу, бывало, у товарищей, о чем вчера была лекция, и тотчас переберу все в своей голове; если ж случалось, что я плохо что-нибудь помнил, то сейчас же загляну в книгу «Сто четыре священные истории» и припомню опять все, что нужно. Поэтому, несмотря на такой род ученья, я был первым учеником, и это знал весь город; сам губернатор П. И. Протасов обращал на меня особое внимание, очень ласкал меня и каждый светлый праздник присылал мне полсотню красных яиц и 5 руб. ассигнациями денег, в чем мне все завидовали. Даже прикащик в книжной лавке полюбил меня, предложил мне приходить в лавку и давал мне на дом книги для чтения. Притом я пользовался книгами из библиотеки Исполита Федоровича Богдановича¹⁶. Это произошло случайно: однажды в воскресенье Богданович приехал к графу Волькенштейну; вошедши в залу, он увидел меня с книгой в руках и тотчас обратился ко мне с вопросом: «Ты, душенька, любишь читать?» — и на ответ — «Да», он взял у меня книгу из рук и прочитал заглавие: «Мальчик у ручья». — «Да, это довольно мило, но тебе, душенька, в эти годы надо читать книги, которые бы научили тебя, развивали бы твой ум; или, может быть, они скучны?» — Я в ответ: «Читаю то,

что даст книгопродавец». — «Ну, так приходи ко мне, я тебе буду давать книги; только будь аккуратен, не держи долго, не рви и не пачкай». Я в этот же день был у него, и он мне дал — как теперь помню — «Ядро российской истории», и велел расписаться. Когда по прочтении я принес книгу обратно, он, осмотревши ее, сказал: «Вот умница! бережешь книги». Потом расспросил, что я упомянул, и как при моей памяти я рассказал ему обо многом из нее, то он поцеловал меня в голову и сказал: «Хорошо, душенька, учись, учись! Это и в крепостном состоянии пригодится». С тех пор он постоянно наделял меня книгами, с такою же аккуратностью всегда спрашивая отчет о содержании прочитанного. «Если чего не поймешь, — говаривал он мне, — ты, душенька, не стыдись спросить у меня, я тебе, может быть, и помогу». Но все это длилось очень недолго: Богданович сделался нездоров и умер — или в последних числах декабря 1802 или в первых января 1803 года¹⁷, — определить точно не могу, только знаю, что это было около того времени. Доказательством может служить то, что он выписал на 1803 год журнал «Вестник Европы», который по смерти его оказался лишним; брат его, бывший в то время городничим в Сумах, зная моего отца и помня, что покойник ласкал меня, передал билет моему отцу, и, таким образом, мы имели журнал этот как наследство от знаменитого поэта. Одно меня долго удивляло: при жизни еще Богдано-

вича я несколько раз просил у него прочитать его «Душеньку», но он всегда отказывал, приговаривая: «После, после, душенька! Еще успеешь». С кончиною его чтение мое не прекратилось; я лишился только указателя, о смерти которого горевал долго; прежний книгопродавец одолжал меня книгами по своему произволу. Между тем ученье шло своим порядком, с маленьким даже улучшением: учитель математики, опасаясь, чтоб при открытии гимназии его не заменили другим, стал реже являться готовым к рассказам о полтавской битве, довольно серьезно начал проходить геометрию и в скором времени довел нас до того, что познакомил и с практикой. Мы ходили с ним в поле и измеряли озеро с помощью астролябии и всех принадлежностей, нужных для измерения; потом он научил нас, как записывать углы и румбы так, чтобы, возвратясь домой, к будущему классу всякий положил на план измеренное, что и было исполняемо, хотя не всеми аккуратно. Мною вообще он был всегда доволен, и после нескольких вояжей я был уже действующим у астролябии.

Страстишка к театру шла также своим путем, и, к моему счастью, между учениками 3-го класса был ученик Городенский, родной брат по матери содержателям театра, г-м Барсовым. Так как в рисовальный урок все ученики соединялись в 3-м классе, по известной уже причине, то я тут и познакомился с Го-

роденским и взял его, так сказать, под свое покровительство; а он за это, если я почему-нибудь опаздывал забраться в театральный оркестр с музыкантами, которые были из нашего дома и которым я всегда помогал таскать в театр или литавру или контрабас, провожал меня в таком случае в раек, где мне было смотреть гораздо удобнее, чем из оркестра. Случалось, что Городенский приглашал меня к себе обедать; там я узнал его семейство: отца, Вакха Андреевича, и старших сыновей, М., А. и Петра, которые были содержателями театра. Старший из этих сыновей был уже на воле, а меньшие — еще крепостные, и меня удивляло одно: они тоже были господские, а с ними и их господа и весь город обходились не так, как с крепостными, да и они сами вели себя как-то иначе, так что я даже завидовал им и все это приписывал не чему иному, как именно тому, что они актеры; а потому быть актером — была главная моя цель. Во время вакации, в деревне, в июле месяце, в день именин графини всегда игралась какая-нибудь опера, и я помню, что однажды умолял регента П. Г. Смирнова, чтобы мне дали какую-нибудь роль в «Несчастье от кареты»¹⁸, и мне дали роль Фирюлина, хотя мне было только 14 лет. Итак, я играл Фирюлина, а покойная сестра Александра — Фирюлину. Ну, про радость, которую я тогда чувствовал, я не буду говорить, потому что на это и слов нет; а особенно когда покойный граф после спектакля, погла-

див меня по голове, сказал: «Хорошо, Миша, хорошо!» — и тут же дал мне поцеловать свою руку¹⁹.

Теперь считаю нужным познакомить читателя с домашним образом моей жизни: ведь из всех-то этих мелочей и составилось мое будущее. Когда отдали меня в ученье, то приказано было, чтобы я обедал и ужинал у П. Б., любимой женщины графини; а когда после экзамена я оказался первым учеником, то велено было поить меня и чаем. По случаю переезда господ в деревню мне приказано было обедать с дворецким. На другой год случилась маленькая перемена: сменили дворецкого в Курске, и сделан новый, который прежде был прикащиком в селе Красном. Так как отец мой был главным управляющим над всем имением, и притом строгой честности, то, заметив не совсем чистые действия по управлению красновского прикащика, он отставил его, и на его место определили курского дворецкого. Около этого времени красновский прикащик женился на одной приданной за графиней девушке и по ходатайству жены получил означенное место дворецкого в Курске. Когда господа уезжали в деревню, то не дали этому новому дворецкому особого обо мне приказания, и он, будучи сердит на моего отца, лишившего его доходного места, вздумал вымещать на мне и не удостоил меня чести допускать к своему обеду, а приказал кормить меня в людской вместе с дворником и кучером. До смешного это оскорбило меня! Сына управителя,

а главное — первого ученика в народном училище посылать обедать вместе с людьми казалось мне ужасным, и я несколько дней питался хлебом с водой; наконец, начал прискивать средства: переписывал для товарищей кой-какие записки, что я делал и прежде, но тогда из лакомства, а теперь за деньги, так что у меня всегда был грош в кармане, и на него покупался следующий обед: на денежку салату, на денежку пивного уксусу, а на копейку конопляного масла, и мы с башмачником Петром уписывали порядочную корчагу этого лакомства. Однакож всякий день одно и то же скоро надоело, а изменить наш обед было невозможно, и такое положение очень тяготило меня. Наконец, однажды Городенский объявил мне, что братья его, т. е. содержатели театра, предлагают мне выписать роли из комедии «Честное слово», и что за это они мне хорошо заплатят. Я согласился, и, хотя комедия была в 5 актах, я, не манкируя уроками, выписал роли очень скоро, но, когда принес свою работу, мне выдали 25 копеек медных. С полной радостью прибежал я домой и обдумывал: какой обед себе устроить, даже, так сказать, прихотливый, чтоб вознаградить себя за сухоядение, и на другой же день, с солнечным восходом, отправился на рынок. Так как это было в Петров пост, то я купил себе на уху великолепных ершей, десятка два, и заплатил за них 10 копеек; из остальных денег 10 копеек уплачено сбитенщику, который перестал

было отпускать мне сбитень в кредит, а пять копеек оставил на будущие покупки салату. Кухарку попросил, чтобы сварила уху, хорошенько бы вычистила рыбу, а главное, чтобы не раздавила желчи и не наводнила много, чтоб уха была и вкуснее и жирнее. Кухарка не отказалась, но предложила мне свои маленькие условия: чтобы я прежде принес ей с Тускари три ведра воды, а то таскать ей на гору тяжело, и, разумеется, за мной дело не стало: я тотчас это выполнил и в наказе прибавил, чтобы она, ради бога, не пересолила и чтобы рыба не переварилась, и потом пошел в класс, где все время был в каком-то приятном ожидании. Из всего, что в этот день проходили, я ничего не слышал, потому что в глазах у меня только и виделось, что в ухе плавающие ерши; все товарищи это заметили, и я сознался в причине моей рассеянности. Тогда один из них, Булгаков, сказал: «Возьми меня с собой, так я и калачей куплю». Разумеется, спору не было, и мы насилу дождались окончания класса. Наконец, он кончился, и мы полетели домой, только Булгаков сбегал прежде за калачами. Пришли. «Что, Аксинья, уха готова?» — «Давно готова!.. Да вы бы тут поели, вот свободная комнатка, подле кухни, где работают портные; она теперь пустая; а то нести горшок в дом неудобно: пожалуй, остудится еще, разобьешь... а главное — простынет». И мы убедились ее доводами. Она постлала какую-то скатертину, или что-то вроде простыни не

слишком чистой, и подала горшочек с ухой. Пар от ухи привел нас в неописанную радость; самая уха запыла жиром; я отведал — чудо как хороша! помещал ложкой: «Где же ерши?» — «Я вынула их на тарелку, чтобы не разварились; они в ящике — в столе. Да ешьте скорее, а то простынет; а там и рыбу достанете сами в вашем столе». Мы принялись работать. Съевши по тарелочке ухи с калачами, я говорю: «Теперь по другой, да положим прежде ершей на тарелку, а то они теперь верно остыли, и нальем их ухой». Отодвигаю ящик и — о, ужас! — над последней рыбкой сидит кошка и преспокойно докушивает ее. Высказать состояние, в котором я тогда находился, нет слов. Я окаменел, а не заплакал: был в каком-то странном оцепенении; товарищ хохотал, как сумасшедший, а я не сводил глаз с кошки, которая, докушавши последнюю рыбку, так сладко облизывалась и так умильно смотрела на меня, как бы благодаря за угощение. Но я, опомнившись, невзирая на ее умильные взгляды, взял ее за шиворот, взмахнул и так сильно ударил о каменный пол, что убил ее до смерти, и вместе с тем горько заплакал. Когда горе прошло, я помню, что долго сердился на самого себя за такой поступок, потому что прежде я никогда не замечал в себе склонности к озлоблению. Но, с другой стороны, обстоятельство это помогло мне, и положение мое скоро изменилось к лучшему. Когда я приехал в деревню, то при встрече со мной К. Г.

спросила меня: жива ли ее кошка? (убитая мною кошка была ее любимой). Я отвечал, что приказала долго жить, и тут же сознался, что убил ее, и когда рассказал ей, при каких обстоятельствах, то она не рассердилась даже на меня, но на другой же день передала все отцу, и дворецкому отдано было обо мне особое приказание — содержать меня прилично; с той поры все пошло своим прежним порядком.

Летом граф выпросил у губернатора Переверзева землемера для размежевания земли на поля и десятины: меня отдали в помощники, и я оказался с достаточными для того сведениями. По возвращении в город дела мои шли тем же путем до самого экзамена. На экзамене я опять отличился, опять получил в подарок книгу с надписью: «за прилежание», и хотел было уже просить графа, чтобы взяли меня из училища, потому что учиться мне уже нечему. Но директор училища И. С. Кологривов уговорил графа оставить меня на вакацию в городе, потому что от правления университета получено предписание: приискать копию с плана Курской губернии, с показанием почтовых дорог; а как лучше меня никто этого не сделает, то я и должен был остаться на это время; притом в последних числах августа приедет в Курск, для открытия гимназии, первый попечитель харьковского университета С. О. Потоцкий, и без меня некому будет сказать ему речь. Все эти уважительные причины склонили графа, и, к моему горю, давши мне погулять немно-

го, посадили меня за съемку плана. Тоска, скука! В классе один! Под конец только дали мне помощника подписывать названия сел и деревень, товарища Попова (сына городского нотариуса), и все это было вдвойне огорчительно после случившегося со мной следующего происшествия.

Через несколько дней по начале моего черчения, входит однажды в класс учитель, который тут же объявил мне, чтоб завтра утром я не приходил в класс, а отправился бы, часов в девять, к князю Мещерскому²⁰: «Князь просит директора прислать тебя срисовать ему что-то и за это даст тебе на калачи». На другой день я отправился к князю. Когда ему доложили о моем приходе, он вышел и повел меня к себе в кабинет. На столе у него лежали кое-какие рисунки, которые я рисовал к экзамену. Указывая на них, князь сказал: «Это, милый, очень хорошо; а теперь ты мне срисуй с этой вазы группу фигур, только в уменьшенном виде», и он поставил передо мной алебастровую вазу, кругом которой были сделаны фигуры. «Мне нужно для столика, чтобы эти фигуры вырезать из дерева, на выдвижном ящике». Я покраснел, сколько мог, и, заикаясь, отвечал, что я этого сделать не могу. Князь же, указывая на мои рисунки, продолжал: «Они очень верны с оригиналами, которые я хорошо знаю, и сходство чрезвычайное». — «Да при нашем учении — сходство дело нетрудное, потому что мы срисовываем на стекло». Боже мой, как князь взбесился: «Да чего ж смотрит директор? Я сейчас поеду к нему

и объясню ему все; а ты ступай, милый, домой. Очень жаль, что ты не можешь, я бы тебе хорошо заплатил», и все-таки он дал мне при этом 15 коп. серебром на орехи. Я отправился домой, а он тотчас же поехал к директору. После обеда пришел ко мне сторож Устинов: «Пожалуйте, говорит, к П. Г.». Когда я пришел к нему, он с гневом напустился на меня: «Как же ты, рокалия, сказал князю, что я учу вас рисовать на стекло!..» — «Нет,— говорю я,— П. Г., я ему сказал, что мои рисунки, лежавшие у него на столе, в которых он находил большое сходство с оригиналами, были мною срисованы на стекло». — «А для чего же ты это сказал, рокалия?» — «Да, помилуйте, как же мне было не сознаться, когда князь заставил меня срисовывать фигуры с алебастровой вазы да еще в уменьшенном виде,— и когда я ему сказал, что я этого не могу и просто не умею, то он, указывая на мои рисунки, возразил мне: кто так верно умеет срисовывать с оригиналов, тому стыдно не сделать этих фигур. Тогда я сознался князю, что снимал на стекло». — «Ты бы, рокалия, сказал, что у тебя теперь болит голова, а не клеветал на учителя». — «Да, помилуйте, вы сами всегда посылали в третий класс для этого». — «Это сделалось, рокалия, для вашего облегчения, и я вас так не учил; а теперь я из-за тебя получил от директора выговор; так я тебя научу, рокалия, как подвергать учителя подобным выговорам». И тут П. Г. приказал принести розг и выпорол меня преисправно. Все это меня так ожесточило, что я не

мог дожидаться конца моей работы и приезда попечителя. В отместку, по окончании плана, я прибавил, и сам уж не знаю для чего, в Ольговском уезде, на речке Сейме, село Хархабаево. Наконец, приехал и попечитель. Собрали в городе учеников, которые были в это время налицо; между ними и аз грешный. Когда дано было мне знать, чтобы я начал речь, то я подошел к попечителю, сделал поклон и довольно громко произнес следующие слова: «Ваше высокографское сиятельство! Когда вседействующий промысел соблаговолит на какое-либо государство излить свои милости, то обыкновенно посылает мудрых начальников», и пр. и пр. Вся речь состояла из подобных любезностей. На другой день я уже ехал в деревню и вез графу от директора благодарственное письмо за мои подвиги. Тем и кончилась моя наука.

[IV. ПЕРВЫЙ УСПЕХ НА ГУБЕРНСКОЙ СЦЕНЕ]

В 1805 году мы переехали с господами в Курск довольно поздно, и за небытностью моей в городе договорен был другой суфлер на зиму и на Коренную, т. е. для спектаклей на время Коренной ярмарки. Горько было для меня узнать это. Средство бывать в театре осталось одно, прежнее, т. е. ходить с оркестром музыкантов, нести контрабас или литавры; впрочем, если удавалось мне перед спектаклем увидеть Городенского, т. е. меньшого брата содержателей Бар-

совых, то он меня всегда проводил или в партер, или в оркестр, или за кулисы. Но особенно горько было то, что я утратил право свободно входить в театр и самому быть участником в деле.

По счастью, случай, который баловал меня в течение целой жизни, что ясно будет видно из моих «Записок», и в настоящее время помог мне. В половине ноября актриса П(елагея) Г(авриловна) Лыкова приехала к господам с бенефисной афишей. Граф взял у ней билет в кресло, заплатил 10 руб. ассигнациями (это по-тогдашнему была значительная плата, потому что в обыкновенные спектакли цена креслам была полтора рубля ассигнациями) и тут же, обратясь ко мне, сказал: «Миша, проводи г-жу Лыкову в чайную и скажи Параше, чтобы она напоила ее кофеем». В то время не было в провинции в обычае сажать и угощать актрис в гостиную. Между разговором г-жа Лыкова жаловалась, что билеты раздает, а еще не знает, будет ли бенефис, потому что актер Арепьев прислал записку из трактира, что он все платье проиграл и обретается в одной рубашке: так чтоб прислали ему денег для выкупа платья; если же не вышлют, то он играть в бенефисе не может, потому что ему выйти не в чем, да и не выпустят. А как он почти все жалованье забрал вперед, то содержатель отказал ему в деньгах, «и я,—говорила бенефициантка,—не знаю, милый, что мне делать». При этих словах во мне так все и закипело! Я дрожащим голосом спросил ее: «А что он играет?» — «Андрея-почтаря в драме

«Зоя»²¹, отвечала она. Так как прошедшую зиму часто я суфлировал эту драму и знал ее очень хорошо, поэтому тут же, задыхаясь от волнения, предложил Лыковой: «Позвольте, я сыгрую эту роль». — «Да разве ты когда играл на театре?» — «Помилуйте, несколько раз, в деревне — на домашнем театре». — «Что же ты играл?» — «Помилуйте... я играл Фирюлина в «Несчастье от кареты» и даже инфанта в «Редкой вещи», а будущее лето буду играть Фому в «Новом семействе». — «Да как же, милый мой, — продолжала Лыкова, — ведь бенефис завтра: успеешь ли ты выучить роль, кажется, листа два?» — «Помилуйте, да это безделица». — «Ну, милый, спасибо тебе! — и поцеловала меня в голову. — Я, — говорит, — отсюда же поеду к М. Е. Барсову (он был старший из братьев-содержателей), скажу ему о твоей готовности помочь нам, и если он согласится, в чем я нисколько не сомневаюсь, то я попрошу его, чтобы он прислал к тебе книгу для скорости, а то роль не скоро от Арепьева получишь. Ведь тебе все равно, что по роли, что по книге? А я тебе скажу, что по книге для скорости гораздо лучше учить, а ты не ленись, прочти всю драму, и если хватит времени, то не один раз: это весьма полезно. Ну, прощай! через час ты получишь книгу».

После этого что со мной было — я пересказать не могу: я готов был и плакать, и смеяться, и первому встречному бросаться на шею, что я и сделал, повстречавшись с Васей, которого я любил. А он мне: «Что

ты, с ума сошел? вешаешься на шею!» — «Вася, Вася! знаешь ли, я завтра играю на театре роль Андрея-почтаря в драме «Зоя»! — «Нет?! право, смотри — не осрамысь! это ведь не то, что в деревне». — «Ну, Вася, что будет, то и будет!» — и в доме не осталось ни одного человека, которому бы не рассказал я об этом.

Разумеется, тут были и маленькие насмешки на мой счет, но меня уже ничто не оскорбляло, тем более, что некоторые от души желали мне успеха. В доме был я общий любимец. Я не сходил с крыльца, потому что с него был виден дом П. И. Анненкова, где жили Барсовы: я видел, как Лыкова туда приехала и через полчаса уехала к себе на квартиру. Прошло два мучительных часа, а никакой вести ни от нее, ни от Барсовых не было. Грусть начинала одолевать меня. Чтобы выйти из этого положения, я прибегнул к хитрости и, надев картуз, отправился к Лыковой на квартиру. Когда я вошел, она спросила меня: «Что ты, мой милый?» — «Я, — говорю, — пришел узнать, нужен ли я вам завтрашний день или нет? А то теперь есть оказия, я хочу отпроситься в деревню повидаться с родителями». — «Ах, милый, пожалуйста, не ездь, а то мне без тебя будет плохо: разве М. Е. не присылал тебе кнители?» — «Нет», я отвечал. «Ну, так скоро пришлет; пожалуйста, выручи меня из беды!» — «Помилуйте, всей душой рад быть для вас полезным». — «А когда выучишь, то приходи ко мне; я тебя слушаю и замечу, что нужно». — «Да вы вечером будете дома?» — спросил я. — «Буду». — «Так я вечером

приду, и вы меня прослушаете». — «Смотри, не скоренько ли?» — «Нет, выучу». — «Ну, так приходи; я тебя и чайком напою». Возвратясь домой, я спрашиваю у товарищей: «Не приносили ли мне от Барсова книги?» — и общий ответ был — нет! Все опять начали шутить и острить на мой счет, но мне было не до них: тот же картуз на голову — и прямо к Барсову. Прихожу к нему и говорю, что, мол, Пелагея Гавриловна Лыкова просила меня притти к вам и спросить, ежели вы не передумали насчет ее бенефиса, то чтобы пожаловали книгу — драму «Зоя», из которой она просила меня выучить роль. «Нет, милый! — отвечал он, — не передумал и очень рад, что ты пришел; а то братьев нет дома, человека я услал, и мне некого было к тебе отправить». Сказав это, он тотчас вручил мне книжку и примолвил: «Ты, я уверен, выучишь — я о твоей памяти знаю от брата Николая, и говоришь ты всегда ясно — это мне известно: ведь ты прошлого года был у нас несколько раз славным суфлером. Жаль, что поздно нынешний год вы приехали, и мы принуждены были нанять суфлера: такая дрянь, что мочи нет!.. Прощай, а завтра поутру приди, я тебя прослушаю». Все это было сказано, как я понимал, для ободрения; но для меня это уже было лишнее. Одна мысль, что я завтра играю, так прищипывала меня, что мне нужна была, напротив, крепкая узда, чтобы только сдерживать. Выйдя за ворота, я все забыл, кроме того, что я завтра играю, и несмотря на то, что шел по улице, дорогой начал учить роль и не-

сколько раз останавливался, не замечая, что прохожие подсмеивались надо мной, но я, кроме книги, ничего не замечал, и когда пришел домой, то роль была почти уже выучена. С какою гордостью показал я товарищам книгу: «Что! — говорю, — смеялись, не верили, а я вот завтра непременно играю!» — и тут же отправился в комнату. Через три часа роль была вытвержена как «отче наш», книга, по наставлению Лыковой, прочтена два раза, и не осталось, кажется, в доме человека, от дворецкого до кучера, кому бы я не прочитал роль свою наизусть. Вечером отправился к Лыковой, которая встретила меня словами: «Что!.. выучил?» — «Выучил». — «Благодарю тебя, мой милый. Книгу принес с собою?» — «Принес». — «Ну, садись же! Вот мы прежде напьемся чаю, а там я тебя и прослушаю». Но мне уж было не до чаю, а делать нечего. Тут все как будто сговорилось против меня: и самовар нескоро подан, и чай она делала мешкотно, и наливала чашки слишком медленно, и хотя все шло своим порядком, да нетерпение мое было таково, что мне это время показалось очень долгим. Но вот все и кончено. Чай отпили, самовар и чашки убраны, и хозяйка обратилась ко мне: «Ну, — говорит, — прочти, душка! я тебя прослушаю. Дай мне книгу». Я вручил ей книгу, и какой-то огонь пробежал по всему моему телу: но это был не страх — нет! страх не так выражается, — это был просто внутренний огонь, страшный огонь, от которого я едва не задыхался, но со всем тем мне было так хорошо, и я только что не плакал от удо-

вольствия. Я прочел ей роль так твердо, так громко, так скоро, что она не могла успеть мне сделать ни одного замечания, и по окончании встала и поцеловала меня с такой добротой, что я уж не помнил себя, и слезы полились у меня рекою. Это ее очень удивило. «Что с тобой?» — сказала она. — «Простите, Пелагея Гавриловна, это от радости, от удовольствия: других слез я почти не знаю». — «Что ж, мой дружок, неужели ты обрадовался тому, что тебя поцеловала старуха? Будто тебе поцелуй старухи так дорог?» — «Да, дорог, потому что он — первая моя награда за малый труд, который вы по доброте своей слишком оценили, и этого я никогда не забуду». — «Ох ты, ребенок, ребенок! — прибавила она. — Ну, это в сторону. Спасибо тебе, спасибо, а все-таки послушай меня: ты слишком скоро говоришь. Конечно, всякое твое слово слышно, но этой быстротой ты вредишь самому себе: ты душишь себя; от этого выходит, что когда некоторым словам надо дать больше силы, а ты уже ее напрасно истратил». И тут же указала мне на некоторые фразы, объяснила, почему надо их усилить, посоветовала запомнить ее замечания, и если не устал, то чтоб дома еще прочитал роль, стараясь дать указанным фразам более силы. «Ну, прощай! А как ты дорожишь поцелуями старух, то вот тебе и еще поцелуй». Но последний почему-то не произвел на меня никакого действия, да и голова моя была занята только что выслушанными советами. Возвратясь, я прочел роль еще несколько раз, не замечая, что читаю все так же быстро;

только указанным фразам давал я более силы, которой у меня был избыток. На другое утро я в 7 часов отправился к М. Е. Барсову. Прихожу — говорят: спит. Я вышел за ворота, думаю — домой идти не для чего, и просто стал шагать взад и вперед по улице, заходя через несколько минут узнавать: проснулся ли? — «Нет», было постоянным ответом. Наконец, в 9 часов — говорят — проснулся. Я вхожу. М. Е. спрашивает: «Выучил»? — «Выучил», отвечал я. — «Ну, давай книгу, я тебя прослушаю». Он сам мне говорил последние реплики, что делала и Лыкова; а я работал от всей души языком, и руками, и ногами. Выслушав меня, он улыбнулся и сказал: «Хорошо, но только уж слишком быстро, да поменьше маши руками. Ну, ступай теперь домой, а на репетицию мы придем за тобой». Возвращаясь домой, разумеется, дорогой читал я опять роль — не знаю и сам для чего, потому что я ее очень хорошо вытвердил; просто мне было как-то приятно ее прочитывать. Дома товарищи обступили меня с вопросами: что, буду ли я играть? «Разумеется, буду», — отвечал я с уверенностью, — и как только Барсовы приедут в театр, то пришлют за мной на репетицию». Но, как нарочно, все тянулось медленно: на репетицию Барсовы приехали довольно поздно и, приехав, не скоро за мной послали. Медленность эта была для меня пыткой, а особенно когда и в назначенное время из театра не скоро пришли меня звать. Тут уж товарищи начали подтрунивать. «Что, брат, прихвастнул? Вот они давно уж проехали, а за тобой не при-

сылают». Мучению моему не было границ. Я беспрестанно бегал на заднее крыльцо поглядеть, не идут ли за мной, хотя и с переднего крыльца также было видно, но тут замучили бы меня насмешками над моим нетерпением. Наконец, сторож Устинов показался, и я ожил. Видя, что он идет прямо к нам, я вошел в залу, где тогда много было нашей братии,—вошел уж покойно; и только что принялись было опять за насмешки, как вдруг голос Устинова в передней: «Где у вас тут Щепкин?» Я из залы отвечал: «Здесь!» — и подошел к двери. «Идите, вас ждут на репетицию!» — «Хорошо, сейчас!» — и все товарищи, оставив насмешки, были рады такому событию, а Вася даже поцеловал меня. Такой водился у нас в доме патриархальный порядок, что никто никогда и ни у кого не спрашивался, идучи со двора, что, разумеется, и я делал; а теперь мне показалось как-то неловко уйти без спросу, и я тотчас же вошел в гостиную, где граф сидел с графиней. Он, по обыкновению, курил кнастер, а графиня занималась приведением в порядок каких-то узоров. «Позвольте, ваше сиятельство, мне отлучиться в театр». — «Зачем?» — «На репетицию». — «На какую репетицию?» — «Драмы «Зоя»; я играю в ней Андрея-почтаря». Граф захохотал и закричал: «Браво, браво, Миша! Да смотри — не осрамись! Я буду в театре, и как хорошо сыграешь... ну, да тогда узнаешь». А графиня прибавила: «Ну, я думаю, ты как сыграешь, то уж будешь лениться рисовать узоры». — «Нет, ваше сиятельство, еще лучше зарисую».

На репетиции все было опять попрежнему, т. е. быстрота речей, беганье, размахиванье руками: обо всем этом мне напоминали и Барсовы и Лыкова. Между репетицией и спектаклем страшный промежуток: чего уж я не делал! даже уходил незаметно в домашнюю баню, которая, разумеется, была холодна, но мне было везде жарко; там я пробовал: можно ли говорить не слишком скоро, не махая руками и не бегая по сцене. И хотя мне казалось, что я довольно успел, но проклятая недоверчивость к себе меня мучила, и я решил Васю сделать свидетелем моего труда, упрямил его сходить со мной по секрету в баню, послушать меня, как я играю, и сказать мне правду, только чтобы никому не выдавал, а то будут смеяться. И что же? Когда я начал показывать свое искусство, все опять заговорило — и руки и ноги. Вася, любя меня, был очень доволен, но все-таки прибавил: «Кажется, очень скоро говоришь!» А я ведь именно о том и думал, чтобы говорить пореже. «Ну, спасибо, Вася! иди себе, неравно граф тебя спросит, а я еще здесь поучусь говорить пореже». И в таком беспокойстве и беспрестанном учении прошел этот страшный промежуток. Когда же я начал собираться в театр, тут опять пошли шутки: «Куда спешишь? Еще успеешь осрамиться!» Другой прибавлял: «Подожди, рано, да и литавры кстати захвати, снесешь в оркестр». Это было, как я сказывал, у меня одно из средств бывать в театре. Но я не обижался такими шутками. Мне было как-то весело, даже сам смеялся. Наконец, я прибыл в убор-

ную театра, которая играла две роли — и уборной и передней для входа на сцену с актерского подъезда. Не припомню всего костюма, в который меня нарядили; знаю только, что на ноги мне надели страшные ботфорты, которые только одни и были во всем театре и потому приходились на все ноги и возрасты. Чем ближе шло к началу спектакля, тем становилось для меня жарче (хотя все жаловались на холод), так что перед выходом на сцену я был уже совершенно мокр от испарины. Как я играл, принимала ли меня публика хорошо или нет — этого я совершенно не помню. Знаю только что по окончании роли я ушел под сцену и плакал от радости, как дитя.

По окончании пьесы Лыкова благодарила меня с одобрением: «Хорошо, милый, очень хорошо!» Барсов тоже сказал: «Хорошо», и прибавил: «А все-таки спешил говорить!» Иван Васильевич Колосов, учитель из народного училища и зять Барсова (который в этот день по их просьбе суфлировал, потому что настоящий суфлер оказался на тот раз неспособным), потрепал меня по щеке, поцеловал в голову и сказал: «Спасибо, Миша, спасибо — хорошо! И как ты ловко нашелся, когда Михайло Егорыч перешагнул из первого в третий акт! Я, признаюсь, расстерялся, кричу из суфлерни: братец, не то, не то! — а он все порет тот же монолог, и, когда он кончил, я не знал, что делать. Да, ты ловко очень нашелся и выгнал его со сцены. Правда, по самой пьесе это следовало, но ты, конечно, заметил, что он не то говорил, и, спасибо, поправил сцену и

сам не сконфузился: ловко! ловко! Ты, видно, всю пьесу хорошо знаешь?» — «Что мне лгать, Иван Васильевич, — отвечал я, — как и что было на сцене, я, право, ничего не помню. Пожалуйста, скажите мне, не совсем дурно я играл?» — «Полно, милый! Хорошо, очень хорошо, и публика была очень довольна. Ты слышал, какие были аплодисменты?» — «Ничего не помню». — «Ну, спасибо!» Уходя из театра, М. Барсов тоже повторил: «Ну, спасибо»; а я ему на это: «Мне и Иван Васильевич сказал спасибо; он говорит, что перепугался, когда вы махнули из первого акта в третий; да спасибо, говорит, ты все дело поправил». — «Нет, — отвечал он очень холодно, — это ему так показалось». И мне было совершенно непонятно, как можно человеку не сознаться в истине.

Когда я пришел домой, все люди и музыканты меня уже ждали, и пошли объятия; кажется, только двое не обняли: Салматин и Александр (первый скрипач), которые тоже игравали на театре и пользовались лаской публики. «Ступай скорее к графу, — сказал мне Вася, — он тебя три раза спрашивал». Когда я вошел, граф захохотал и закричал: «Браво, Миша, браво! Поди, поцелуй меня!» И, поцеловав, приказал: «Вася! подай новый, нешитый триковый жилет!» Вася принес; граф взял и положил его мне на плечо: «Вот тебе на память нынешнего дня». Я, по заведенному порядку, хотел поцеловать ему руку, но он не дал и, поцеловав меня в голову, сказал: «Ступай к Параше, я велел приготовить самовар и напоить тебя чаем; на-

пейся и ложись отдыхать, а то ты, я думаю, устал». После чаю, выпитого, разумеется, в порядочном количестве, я лег спать и, кажется, всю ночь бредил игрой. На другой день все вчерашнее мне казалось сном; но подаренный жилет убеждал меня, что то была сущая истина, и этого дня я никогда не забуду: ему я обязан всем, всем!

[V. СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ]

1808 год

...Пришло время переезжать из города в деревню, потому что граф Волькенштейн только зиму жил в Курске, а каждое лето в деревне. По этому случаю привезли в Курск на сорока подводах сто четвертей пшеницы, запроданных орловским купцам. По ссыпке пшеницы в этих самых подводах повезли в деревню оркестр музыкантов, хор певчих, несколько официантов и меня, хотя настоящая моя должность была — как бы сказать? — графского секретаря или письмоводителя, или чего-то вроде этого. По тракту нашему нужно было переправляться через реку Псёл на пароме. Дорога была проселочная, поэтому и паром был не слишком завидный, и так мал, что больше четырех телег на себе не помещал: нужно было оборотиться раз десять, чтобы перевезти всех на другой берег. Переправившись с первыми возами, мы вздумали покупаться. Время было теплое, хотя это было и в на-

чале мая. Обоз между тем продолжал переправляться. Не хотелось нам вылезать из воды, а нужно было: уже много возов переправилось. Когда мы вышли на берег и начали одеваться, бывший при пароме старик, с трубочкой в зубах, высекая кресалом огонь, спокойно сказал: «А що вы, хлопци, знаете? чоловик тоне». — «Что ж ты не поможешь ему?» — отвечал я. «Та то не наш!» — отвечал он мне. Я бросился в ту сторону, куда он указал. Псёл в этом месте делал крутой поворот, так что сначала мы не могли видеть ничего, что делалось за углом поворота. Добежав до указанного места, я увидел, что вместо одного тонут двое, схватившись друг за друга. Я плаваю очень сильно, а потому и бросился к ним. Пока я добрался до них, они раз уже несколько окунулись, но, к счастью, река в этом месте была не слишком глубока: дойдя до дна, они упирались в дно ногой, выскакивали наверх воды и, переведя дух и побарахтавшись немного, опускались снова. Когда я доплыл к ним, они показались на воде и, увидев меня, бросились ко мне так стремительно, что я при всей своей храбрости нырнул от них в сторону: я чувствовал, что один не мог бы сладить с ними, тем более, что один из них был огромного роста, вершков двенадцати, да и другой вершков шести; а с двумя трудно ладить на воде. Вынырнув, я крикнул мужикам, с любопытством ожидавшим, чем все это кончится, чтоб они бросили мне конец вожжи, потому что дело было не слишком далеко от берега; но спуск был очень крут, и у самого берега была уже глубь.

Когда бросили конец вожжи, я обмотал ее около левой руки и наказал им, чтобы они тянули вожжу, как только утопающие схватятся за меня. Распорядившись таким образом, я подплыл к тому месту, где они начали уже реже показываться; я думал уже, что все кончено. Но, к счастью, они еще раз показались и очень близко от меня. Я схватил одного правой рукой за волосы, а другой схватил меня самого за горло, и мы все трое пошли ко дну. Тут мужики, по моему наставлению, потянули вожжу, и мы помаленьку начали подплывать под водой к берегу. Когда недоставало духу, то я, собравшись с силами, упирался крепко в дно,— нас выбрасывало, и я переводил дух; но, невзирая на все мое мастерство в плавании, я должен был опять опускаться ко дну. Оба же тонувшие начали терять память. Между тем мужики делали свое, и все тянули да тянули, и вот, не один раз измерив глубину реки, мы приплыли к крутому берегу. Несколько рук явилось на помощь, и хотя с трудом, но нас вытащили. Утопающие мои были словно полоумные, особенно самый большой. Между тем пошли расспросы, как это случилось; не скрою, я несколько гордился, впрочем, только мысленно, своим подвигом, что вот, дескать, спас двух человек. Между тем один из тонувших пришел в себя. Кто-то из мужиков обратился к нему с вопросом: «Тебе, дурный, який чорт кинув в воду?» Тот ему в ответ: «Э! чоловік мене».— «Эх, дурный, дурный! Видь ты плавать не умиєшь».— «Э! в голову не пришло!» Этими словами

он совершенно уничтожил меня: я был сильный пловец — и было бы подло с моей стороны не броситься спасать их, а он кинулся в воду спасать человека, забыв, что не умеет плавать; признаюсь, мне стало стыдно. Происшествие это кончилось очень глупо с моей стороны. Когда и другой тонувший пришел в себя, то вдруг ни с того, ни с сего поворотил прямо к реке и пошел в глубь. Я схватил его за руку и спросил: «Куда ты?» — «Обмыться!» — был его ответ. Это так рассердило меня, что я сильно ударил его, так что он упал. Тогда первый обратился ко мне с иронической усмешкою и сказал: «От-се, Семенович, вытяг чоловика, щоб убыты». Из уважения к его благородному поступку записал я его имя: звали его Алексей Хоремер.

[VI. КНЯЗЬ П. В. МЕЩЕРСКИЙ]

Теперь мне следует рассказать случай, который имел сильное влияние на мое сценическое образование. Да, это был, так сказать, толчок, который заставил меня мыслить и увидеть многое в совершенно новом свете.

Жил в Курске вельможа времен Екатерины, князь П(рокофий) В(асильевич) Мещерский, человек, по своему веку, весьма образованный. Он знал много языков и был еще художником: занимался живописью, скульптурою, резьбою, токарным и даже сле-

сарным искусством; а впоследствии князь открыл столлярню, и мебель, выходившая из его мастерской, отличалась своим изящным рисунком. Носился слух, что он первый начал употреблять тогда для мебели вместо красного и орехового дерева березовые выплавки. Про него же говорили, что он был удивительный актер; но я никогда еще не видал его игры, хотя и знал его очень давно. Еще когда я был в училище, то на экзаменах он всегда ласкал меня как первого ученика.

Надобно сказать, что князю было уже лет за семьдесят, но такой красивой старости я другой уже не припомню: благороднее лица нельзя выдумать, и притом в речах и во всех движениях его виден был вельможа в полном смысле.

Наконец, в 1810 году я видел его играющего в сумароковой комедии «Приданое обманом» роль Салидара. Это было в Юноковке, в доме князя Голицына, на домашнем спектакле, в котором участвовали также и другие любители театра. Надобно сказать, что в это время я был уже актером, лет пять уже пользовался вниманием публики и получал самый большой оклад жалованья — 350 руб. асс. (сорок лет назад эта сумма была очень значительна). Не могу высказать, с каким старанием искал я случая увидеть игру князя Мещерского. Наконец, судьба подарила мне этот случай, очень важный для меня. Вот как это было. Так как летом спектаклей не было, и время было для меня свободное, то я стал учиться рисовать, к чему у меня всегда была склонность. Учителем моим

был академик Николай Антонович Ушаков. В то время портреты его работы славилась необычайным сходством. Этому самому Ушакову сделано было предложение приехать к князю Голицыну в деревню Юноковку для списывания портретов, на что Ушаков очень охотно согласился. Прислана была коляска. Ушаков пригласил и меня ехать, и мы отправились вместе. По приезде в Юноковку мы нашли там и князя Мещерского и, к величайшему моему удовольствию, узнали, что вечером будет домашний спектакль и князь Мещерский будет в нем участвовать. Не могу передать теперь, что происходило во мне в то время в ожидании спектакля. Я уже создавал себе мысленно игру его, и она представлялась мне колоссальною. «Нет,— думал я,— игра его должна быть уже не нашей чета; потому что он не только жила в Москве и Петербурге, но бывал в Вене, Париже и Лондоне. Да мало того, он играл и во дворце императрицы Екатерины! Стало быть, какова же должна быть его игра!» Все это волновало меня ужасно до самого спектакля. Но вот я в театре, вот оркестр заиграл симфонию, вот поднялся занавес, и передо мною князь... но нет! это не князь, а Салидар скупой! Так страшно изменилась вся фигура князя: исчезло благородное выражение его лица, и скупость скареда резко выразилась на нем. Но что же! Несмотря на это страшное изменение, мне показалось, что князь играть совсем не умеет. У, как я торжествовал в этот миг, думая: «Вот оно! Оттого что вельможа, так и хорошо! И что это за игра? ру-

ками действовать не умеет, а говорит... смешно сказать! — говорит просто, ну так, как все говорят. Да что же это за игра? Нет! далеко вашему сиятельству до нас». Одним словом, все, игравшие с ним, казались мне лучше его, потому что играли, а особенно игравший Пасквина. Он говорил с такою быстротою и махал так сильно руками, как любой самый лучший настоящий актер. Князь же все продолжал попрежнему; только странно, что, несмотря на простоту его игры (что я считал неумением играть), в продолжение всей роли, где только шло дело о деньгах, вам видно было, что это касалось самого больного места души его, и в этот миг вы забывали всех актеров. Страх смерти и боязнь расстаться с деньгами были поразительно верны и ужасны в игре князя, и простота, с которою он говорил, нисколько не мешала игре его. Чем далее шла пьеса, тем больше я увлекался и, наконец, даже усомнился, что чуть ли не было бы хуже, если б он играл по-нашему. Словом, действительность овладела мною и не выпустила меня уже до окончания спектакля: кроме князя, я никого уже не видал; я, так сказать, прирос к нему. Его страдания, его звуки отзывались в душе моей; каждое слово его своею естественностью приводило меня в восторг и вместе с тем терзало меня. В сцене, где открылся обман, и Салидар узнал, что фальшивым образом выманили у него завещание, я испугался за князя; я думал, что он умрет, ибо при такой сильной любви к деньгам, какую князь

имел к ним в Салидаре, невозможно было, потеряв их, жить ни минуты.

Пьеса кончилась. Все были в восторге, все хохотали, а я заливался слезами, что всегда было со мною от сильных потрясений. Все это мне казалось сном, и все в голове моей перепуталось: «И нехорошо-то князь говорит,— думал я,— потому что говорит просто»; а потом мне казалось, что именно это-то и прекрасно, что он говорит просто: он не играет, а живет. Сколько фраз и слов осталось в моей памяти, сказанных им просто, но с силой страсти; я уже считал их своими, потому что думал, что могу сказать их так же, как он. И как мне было досадно на самого себя: как я не догадался прежде, что то-то и хорошо, что естественно и просто! И думал про себя: «Постой же, теперь я удивлю в Курске, на сцене! Ведь им, моим товарищам, и в голову не придет играть просто, а я тут-то и отличусь». Чтоб больше сдружиться с естественностью игры князя в комедии Сумарокова, не охладеть и не утратить слышанного, я тут же выпросил эту комедию переписать и переписал ее, не вставая с места. Из Юноковки я поехал в деревню к своим и всю дорогу не выпускал пьесы из рук; по приезде, через сутки, я знал уже всю комедию наизусть. Но каково же было мое удивление, когда я вздумал говорить просто и не мог сказать естественно, непринужденно ни одного слова. Я начал припоминать князя, стал произносить фразы таким голосом, как он, и чувствовал, что хотя и говорил точно так, как он, но

в то же время не мог не замечать всей неестественности моей речи; а отчего это выходило — никак не мог понять. Несколько дней сряду я уходил в рощу и там с деревьями играл всю комедию, но тут же понимал, что играл так же, как и прежде, а уловить простоту и естественность, какими обладал князь, не мог. Все это приводило меня в отчаяние. Мне никак не приходило в голову, что для того, чтобы быть естественным, прежде всего должно говорить своими звуками и чувствовать по-своему, а не передразнивать князя. После долгих трудов я упал духом и пришел к такой мысли, что мне никогда не достигнуть простоты в игре. Я бы-ло отказался от своих напрасных трудов; но мысль об естественной игре уже зарони-лась в моей голове, и когда к зиме я приехал в Курск и начались спектакли, то эта мысль ни на минуту меня не оставляла, и, невзирая на все неудачи, я опять старался искать естественности. Долго-долго она мне не давалась, но случай помог мне, и тогда уже твердою ногой пошел я по этой дороге, хотя привычки старой игры мно-го и долго мне вреди-ли.

Случай этот состоял вот в чем. Как-то была репетиция мольеровской комедии «Школа мужей», где я играл Станареля. Так как ее много репетировали и это мне наскучило, да и голова моя была занята в то время какими-то пустяками, то я вел репетицию, как говорится, неглиже: не играл, а только говорил, что следовало по роли (роли мои я учил всегда твердо), и говорил обыкновенным своим голосом. И что же?

Я почувствовал, что сказал несколько слов просто, и так просто, что если б не по пьесе, а в жизни мне пришлось говорить эту фразу, то сказал бы ее точно так же. И всякий раз, как только мне удавалось сказать таким образом, я чувствовал наслаждение, и так мне было хорошо, что к концу пьесы я уже начал стараться сохранить этот тон разговора. И тогда все пошло наыворот: чем больше я старался, тем выходило хуже, потому что переходил опять в обыкновенную свою игру, которой уже не удовлетворялся, так как втайне смотрел на искусство другими глазами. Да, втайне! Если бы я высказал зародившуюся во мне мысль, то меня бы все осмеяли. Эта мысль была так противоположна господствовавшему мнению, что товарищи мои к концу пьесы осыпали меня похвалами, потому что я старанием попал в общую колею и играл так же, как и все актеры, и даже, по мнению некоторых, лучше всех. Припомню, сколько могу, в чем состояло, по тогдашним понятиям, превосходство игры: его видели в том, когда никто не говорил своим голосом, когда игра состояла из крайне изуродованной декламации, слова произносились как можно громче, и почти каждое слово сопровождалось жестами. Особенно в ролях любовника декламировали так страстно, что вспомнить смешно; слова — любовь, страсть, измена — выкрикивались так громко, как только доставало силы в человеке; но игра физиономии не помогала актеру: она оставалась в том же натянутом, неесте-

ственном положении, в каком являлась на сцену. Или еще: когда, например, актер оканчивал какой-нибудь сильный монолог, после которого должен был уходить, то принято было в то время за правило поднимать правую руку вверх и таким образом удаляться со сцены. Кстати, по этому случаю, я вспомнил об одном из своих товарищей: однажды он, окончивши тираду и удаляясь со сцены, забыл поднять вверх руку, что же? — на половине дороги он решился поправить свою ошибку и торжественно поднял эту заветную руку. И это все доставляло зрителям удовольствие! Не могу пересказать всех нелепостей, какие тогда существовали на сцене,—это скучно и бесполезно. Между прочим, во всех нелепостях всегда проглядывало желание возвысить искусство: так, например, актер на сцене, говоря с другим лицом и чувствуя, что ему предстоит сказать блестящую фразу, бросал того, с кем говорил, выступал вперед на авансцену и обращался уже не к действующему лицу, а дарил публику этой фразой; а публика, со своей стороны, за такой сюрприз аплодировала неистово. Вот чем был театр в провинции сорок лет назад и вот чем можно было удовлетворить публику. В это-то время князь Мещерский, без желания, указал мне другой путь. Все, что я приобрел впоследствии, все, что из меня вышло, всем этим я обязан ему; потому что он первый посеял во мне верное понятие об искусстве и показал мне, что искусство настолько высоко, насколько близко к природе. К этому рассказу мне остается только прибавить, что по

прошествии 15 лет я узнал уже в Москве от покойного князя А. А. Шаховского²², что этим не я один был одолжен князю Мещерскому, а весь театр русский; потому что князь Мещерский первый в России заговорил на сцене просто, тогда как вся прежняя школа, школа Дмитревского²³, состояла из чтеца и декламаторов. И еще узнал я от князя Шаховского, что Дмитревский не расположен был к князю Мещерскому за это введение простоты и естественности, особенно когда они начали увлекать публику и приобретать много последователей.

[VII. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ «ДОН ЖУАНА» В ХАРЬКОВЕ]

1816 год

1816 год, в начале, был для меня самый горестный по разным обстоятельствам; но горе мое стало для меня еще тяжелее, когда я узнал, что театр в Курске расстроился. Дом благородного собрания, в котором помещалась и сцена, начали переделывать, и, как слышно было, переделка не могла кончиться ближе двух лет; следовательно, спектаклей давать было негде, а выстроить театр содержатели были не в состоянии. Я был совершенно уничтожен: переехал в деревню, где с горя прочитал историю Роллена²⁴, в переводе Тредьяковского, от доски до доски. В исходе

июля вдруг получаю письмо от одного из бывших содeржaтeлeй, иmеnnо от П. Е. Барсова. Он извещал меня, что получил приглашение из Харькова от Штейна²⁵, который просил его пригласить еще кого-нибудь для ролей комических; почему он обращается с этим приглашением ко мне, и что если я согласен, то отпросился бы и приехал в Курск, чтобы потом отпра-виться в Харьков: «Там, мол, можно кой-что и зарабо-тать». Высказать мою радость я не в силах. Мысль, что я буду играть в Харькове, приводила меня в восторг. Я знал, что в Харькове театр давнишний и что на нем играют все; к тому же там университет, по-этомy пyблика должна быть образованнее, следова-тельно, и требования от актеров гораздо бoльшие. Это последнее обстоятельство, при всей моей радости, вну-шило мне и некоторое чувство страха,— словом, я на-чал было робеть. Потом вспомнил, что из харьковской труппы у нас уже был налицо актер Мурашкин, кото-рый с неба звезд не хватал; кроме того, я видел луч-шего харьковского драматического актера, г-на Геца, который проездом играл в Курске «Сына любви»²⁶; в нем было много хорошего, но вообще он был ниже нашего М. Е. Барсова. Сообразив все это, я немного приободрился и, разумеется, не теряя времени, отпра-сился у графини Волькенштейн, с маленькой гордо-стью объяснив ей, что меня приглашают на харьков-скую сцену. Она отпустила меня и шутя прибавила: «Смотри, не срамись!» Сборы были небольшие. Отцу и матери было лестно, что изо всей труппы Барсов

пригласил меня и никого другого: стало быть, я что-нибудь да значу. Даже жене, несмотря на разлуку, такое приглашение было не неприятно²⁷. Итак, поцеловав у родителей ручки и получив от них напутственное благословение с прибавкою двух рублей медными деньгами, перецеловав жену и детей, в первых числах августа отправился я в Курск, чтобы оттуда уже вместе с Барсовым ехать в Харьков. Не буду рассказывать, как я приехал в Курск, как вскоре потом отправились мы с Барсовым на долгих²⁸ в Харьков — все это было весьма обыкновенно, без всяких особых происшествий. В Харьков мы приехали 15 августа, часов около десяти утра; остановились в квартире актера Угарова, с которым Барсов уже был знаком и с которым он уже списался. Самого Угарова мы не застали дома: он ушел на репетицию комедии «Дон Жуан» Мольера. Все это узнали мы от жены Угарова, очень милой и чрезвычайно красивой женщины, которая приняла нас как нельзя более радушно, отвела нам комнату, напоила чаем и кофеем, уговаривала отдохнуть с дороги, и Барсов был почти готов на это; но меня мучил Дон Жуан. Мольер был мною почти весь прочитан, хотя на нашем театре игралось из него не более трех пьес. Дон Жуана играть у нас не могли, потому что на нашей сцене не было ни провалов, ни полетов, а в этой пьесе являются фурии и уносят Дон Жуана. Все это интересовало и волновало меня, и я неотступно пристал к Барсову идти в театр — застать репетицию. Барсов нехотя согласился. Одевшись прилично

(я в свой единственный черный фрак, а товарищ мой и подрумянился немного: он был кокетлив), отправились мы в театр. Подходя к театру, я совсем разочаровался: я представлял себе, что в таком городе, как Харьков, театр — красивое здание, а вместо того увидел какой-то бревенчатый балаган. Когда мы взошли на сцену по полуразрушенной лестнице, то сначала в темноте ничего не было видно; потом, оглядевшись немного, Барсов, знакомый уже прежде с sostenителями театра (их было два: Штейн — немец и Калиновский — поляк), представил меня им как лучшего из своих товарищей. Здесь же он познакомил меня с хозяином нашей квартиры, актером Угаровым, первым комиком харьковской сцены. Угаров был существо замечательное, талант огромный. Добросовестно могу сказать, что выше его талантом я и теперь никого не вижу. Естественность, веселость, живость, при удивительных средствах, поражали вас, и, к сожалению, все это направлено было бог знает как, все игралось на авось! Но если случайно ему удавалось попадать верно на какой-нибудь характер, то выше этого, как мне кажется, человек ничего себе создать не может. К несчастью, это было весьма редко, потому что мышление было для него делом посторонним, но за всем тем он увлекал публику своею жизнью и веселостью. Как в человеке, в нем все было премешано; в каком-то странном беспорядке стояли рядом добродушие и плутоватость, театр и карты, и охота покутить. Все это было в нем смешано до такой степени, что не

знаешь, бывало, чему он отдавал преимущество. Хороший семьянин, а для последних двух страстей он готов был оставить семейство без куска хлеба. Но оставим его; я не могу высказать и половины того, что было в этой замечательной личности. Прибавлю только, что потом, несмотря на все его недостатки, я всегда любил его как человека и уважал как талант. В своих записках я часто буду еще обращаться к Угарову и передам о нем все, что знаю.

Когда нас познакомили, он тотчас взял меня за руку и подвел к жене Калиновского с такими словами: «Анна Ивановна Калиновская, первая наша актриса — с огнем баба!» Между тем артисты начали опять прерванную нашим приходом репетицию. Дон Жуана играл Калиновский, а Лепорелло — Угаров. Когда я начал вслушиваться в разговор действующих лиц, то чрезвычайно смутился: я знал мольерова Дон Жуана; но это был не тот, а другой, и точно другой. Этот Дон Жуан был переведен с польского г. Петровским, который, как видно, не знал хорошо русского языка: перевод этот был такая галиматья, что я не мог понять, как можно было играть подобную пьесу в университетском городе, как Харьков. К довершению всего Калиновский говорил польским выговором, как, например, чéго и т. п. Обо всем этом я не сказал ни слова из скромности. Но я не мог утерпеть, чтоб не спросить Калиновского, как у них устроена последняя сцена, где являются фурии. Он отвечал мне: «Теперь эта сцена будет не так эффектна, как прежде. Прежде

делалась чистая перемена, и декорация представляла ад: фурии выбегали, вылетали, выскакивали из земли и увлекали Дон Жуана. Теперь же этого не будет, потому что декорацию, представлявшую ад, как везли из Кременчуга, смыло дождем, и теперь просто фурия слетит сверху, схватит Дон Жуана и унесет». — «А! — подумал я, — здесь, стало быть, есть и машины», и пошел осматривать сцену; но, к моему удивлению, я ничего не заметил, кроме балок, чистосердечно лежавших поперек сцены. Мне совестно было спросить и обнаружить таким образом свое невежество, тем более, что, учившись в народном училище, я ознакомился несколько с механикою, по крайней мере знал силу рычага, пользу блока и действие ворота; но здесь ничего подобного не было видно. С нетерпением жду я конца репетиции, полагая, что будут пробовать полет, — не тут-то было! Репетиция кончилась, и когда я спросил: «Не будут ли пробовать полета?» — то Калиновский отвечал: «Нет! эта машина хорошо устроена, и пробовать нечего». И мне стало стыдно, что я не мог отыскать этой машины.

Обедать мы приглашены были к Калиновскому. Не буду рассказывать всех любезностей хозяйки и всех остроумий Угарова. К концу обеда вошел очень высокий мужчина, в длинном синем сюртуке, подпоясанном кушаком, с волосами в скобку, но с бритой бородой, и сказал, обратясь к Калиновскому: «Пожалуйте, Осип Иванович, денег за машину». Меня так и взвол-

новало. «Что за машина?» — спросил я. — «А это Дон Жуана поднимать», — отвечали мне.

Я попросил позволения посмотреть машину. «Принеси», — сказал Калиновский длинному сюртуку, который, как я после узнал, был главным машинистом. Он вышел и скоро возвратился, принеся с собою два толстых ремня немного потоньше тех, которые употребляются для рессор в дрожках. Оба ремня были с железными толстыми пряжками. У одного из них посредине пришит был дратвами железный крючок значительной толщины, а у другого пришито было такой же прочности железное кольцо. Не понял я механизма и спрашиваю: «Что же из этого будет?» Тогда Калиновский берет ремень с крючком, стягивает его на себе пряжкой, которая пришлась назад, крючок же очутился наперед. «А вот что, — говорит он: — этим поясом подпоясается фурия, у нее крючок наперед, а Дон Жуан подпоясается другим поясом, у которого кольцо будет назад. Таким образом, фурия, спустясь сверху, обхватит одною рукой Дон Жуана, а другою наденет кольцо на крючок и унесет его». Да, — подумал я, — стало быть, я не рассмотрел; верно, есть где-нибудь и вóрот и блоки, — и еще более убедился в этом, когда машинист сказал: «Пожалуйте, Осип Иванович, еще денег на канат, а то старый сгнил совершенно». При выдаче денег Калиновский прибавил: «Да не забудь выкрасить канат черной краской, чтоб не так было приметно».

С ужасным нетерпением я ожидал вечера, чтоб

итти в театр: механизм сводил меня с ума. Наконец, около семи часов мы пришли в театр. Я тотчас бросился на сцену рассмотреть все хорошенько и отыскать машину. По тщательном осмотре я нашел кое-что, а именно: от второй до третьей кулисы, посредине сцены положено было с балки на балку круглое бревно, и на этом бревне торчали два огромных гвоздя, вершка на полтора один от другого. Кроме того, точно такое же бревно, на тех же балках и с такими же гвоздями, положено было за кулисами. Всего этого прежде не было. Я отыскал длинный сюртук и спросил его: для чего положены эти бревна? А он мне в ответ: «Это машина — подымать Дон Жуана». — «Как же это? Расскажи, пожалуйста», — сказал я. — «А вот, извольте видеть, эти два гвоздя на этом бревне, за кулисами? Между них пропустится веревка и протянется до половины сцены, где лежит вот другое бревно, и пропустится также между двумя гвоздями: извольте видеть? А там фурия будет сидеть на балке, и веревка эта привяжется ей сзади, и когда фурия будет спускаться, то гвозди не дадут веревке сдвигаться, и фурия спустится прямо». — «Как же? воротом будут подымать?» — спросил я. «Нет, — отвечал длинный сюртук, — просто на руках». — «Да ведь это очень тяжело», говорю я. «Да ведь здесь, — прибавил он, — за кулисами народу будет много, а к тому же мы веревку намажем салом: оно будет полегче». Покачал я головой и пошел в кресла. Начался спектакль. Угаров приводил всех в восторг, да и к Калиновскому публика,

как видно, привыкла, так что, несмотря на его выговор, много раз одобряла. Перед пятым актом я не утерпел, пошел на сцену и увидел, что фурия уже сидела на балке, а человек с десять стояли за кулисами и держались за веревку. «Кто это,— спросил я,— одет фурией?» — «Это мой помощник Миньев»,— отвечал механик. Я возвратился в кресла и ждал окончания пьесы. Наконец, дождался: Дон Жуан в отчаянии призывает фурий! И вот посреди театра из падуги показывается пара красных сапог, потом белая юбка с блестками, и наконец, является и вся фигура фурии. Костюма фурии подробно передать я не в состоянии: какой-то шарф перекинут через плечо, на голове какой-то венец с рогами. Но это все ничего, а вот что было изумительно: как только фурия отделилась совсем от балки и повисла на веревке, то новая веревка от тяжести стала вытягиваться и раскручиваться, и так как фурию спускали медленно, то она, прежде чем стать на ноги, перевернулась раз двенадцать, отчего голова у ней, разумеется, закружилась (выпила она для храбрости тоже порядочно). Ставши на пол, фурия ничего не видит; одною рукою держит крючок, а другою, размахивая, ищет Дон Жуана, но ищет совсем в другой стороне. Калиновский в бешенстве забывает, что это на сцене, и кричит громко: «Гунство! сюда, сюда!» Наконец, фурия ощупывает кое-как Дон Жуана, обхватывает его одною рукою, а другою старается поддеть кольцо на крючок... но никак не подденет. Калиновский в совер-

шенном отчаянии, желая помочь горю, протягивает назад руку, берет свое кольцо, а между тем бранные слова сыплются на фурию; но ничто не помогает, и фурия никак не может сцепиться с Дон Жуаном. Все это было для меня что-то неслыханное и невиданное и потрясло меня до основания. Я выбежал из кресел, бросился на сцену, вырвал у механика веревку и опустил занавес. И надо было видеть, с каким остервенением Дон Жуан начал терзать фурию за волосы... Тем и кончилось представление Дон Жуана.

[VIII. ПРОШЛЫЕ ПРАВЫ]

В 1801 году меня, как я сказывал, уже перевезли из Суджи в Курск и отдали в народное училище. С тех пор я начал знакомиться со всеми слоями тогдашнего общества, и когда сделался актером, то некоторый успех, приобретенный мною на этом поприще, дал мне возможность бывать во всех обществах; ибо, невзирая на то, что я все-таки был крепостной человек, меня часто приглашали к себе и купечество и служащие по разным присутственным местам. Дворянский быт я знал уже довольно хорошо по нашим гостиним, потому что меня как ловкого и умного малого часто выпрашивали для услуг у господ и в другие дома, где бывали большие обеды и бальные ве-

чера; и во всех домах, где бывали такие собрания, мне как лучшему официанту платили против других двойную цену, т. е. всем платили по 5, а мне 10 руб. И там-то благодаря моей наблюдательности я хорошо понял дух времени того века. Жили, как говорилось, тогда весело. Так, например, зимой недоставало вечеров для балов, и потому часто делались днем: столько было открытых домов! К тому же театр, собрания, в городе было пять оркестров,—ну, кажется, чего же лучше, а со всем тем дух общества был следующий.

Была одна дама в городе, собою прекрасная; не буду называть ее, старожилы, верно, узнают. Весь город сожалел об ее болезни, которою она, несчастная, страдала.

Болезнь ее состояла в страшной тоске, и вся медицина тогдашняя не могла найти средства облегчить ее; но случай открыл лекарство. Как-то в самом сильном страдании, одна из крепостных ее девок принесла ей какую-то оконченную работу, весьма дурно сделанную; быв в волнении, она вместо выговора дала ей две пощечины и — странное дело! — через несколько минут почувствовала, что ей как будто сделалось лучше. Она это заметила, но сначала приписала это случаю. Но на другой день тоска еще более овладела ею, и, будучи в безвыходно-страдательном положении, она, бедная, вспомнила о вчерашнем случае и, не находя другого, решила попробовать вчерашнее лекарство. Пошла сейчас в девичью и к первой попавшей на глаза

девке придралась к чему-то и наградила ее пощечинами, и что же? — в одну минуту как рукой сняло; а потом каждый день после того начала лечиться таким образом, и общество даже заметило, что она поправляется. Однажды графиня наша высказала ей свою радость, видя ее в гораздо лучшем положении, и она в благодарность за это дружеское участие открыла ей рецепт лекарства, который так помог. И как графиня была в чахотке и у ней часто бывала тоска, то дама эта советовала ей употреблять то же лекарство, говоря, что оно очень поможет; но наша ей в ответ на это сказала: «Милая, я во всю жизнь щелчком никого не тронула, и ежели бы, боже сохрани, со мной случилось такое несчастье, то, мне кажется, я умерла бы от стыда на другой же день». И это не фраза, потому что она была добрейшее существо, хотя и были кой-какие человеческие слабости.

Не могу определить точно времени, но только однажды, когда я рисовал у графини в комнате узор с вышитого платья, вдруг приезжает больная дама и очень расстроенная. Графиня тотчас заметила и отнеслась к ней с вопросом: «Марья Александровна! что с вами, вы так расстроены?» — и бедная больная, залившись слезами, стала жаловаться, что девка Машка хочет ее в гроб положить. «Каким образом?» — спросила графиня. — «Не могу найти случая дать ей пощечину. Уже я нарочно задавала ей и уроки тяжелые и давала ей разные поручения: все мерзавка делает и выполнит так, что не к чему придраться... Она.

правду сказать, чуждая девка и по работе и по нравственности: да за что же я, несчастная, страдаю, а ведь от пощечины бы не умерла!» Посидевши немного и высказав свое горе, она уехала, и графиня при всей своей доброте все-таки об ней сожалела. Но дня через два опять приезжает Марья Александровна веселая и как будто бы в каком-то торжестве обнимает графиню, целует, смеется и плачет от радости и, даже не дожидая вопроса от графини, сама объяснила свою радость: «Графинюшка, сегодня Машке две пощечины дала». Графиня спросила: «За что? Разве она что нашла?» — «Нет, за ней этого не бывает. Но вы знаете, что у меня кружевная фабрика, а она кружевница: так я такой ей урок задала, что нехватит человеческой силы, чтобы его выполнить». И наша графиня, при всем участии к больной, не могла не сказать ей в ответ: «И вам это не совестно?» — «Ах, ваше сиятельство! что же мне умереть из деликатности к холопке? А ей ведь это ничего, живехонька — как ни в чем не бывало». Такой разговор происходил в воскресенье, а во вторник, гораздо ранее назначенного времени для визитов, Марья Александровна приезжает к графине расстроенная и почти в отчаянии и, входя на порог, даже не поздоровавшись с хозяйкой, кричит, что девка Машка непременно хочет ее уморить. Графиня спрашивает, что такое случилось. «Как же, графиня, представь себе, вчера такой же урок задала — что же? Значит, мерзавка не спала, не ела, а выполнила, и все это только, чтобы досадить мне! Это

меня так рассердило, что я не стерпела и с досады дала ей три пощечины; спасибо, в голове нашла причину: а, мерзавка! — говорю ей, — значит, ты и третьего дня могла выполнить, а по лености и из желания сделать неприятность не выполнила; так вот же тебе! — и вместо двух, дала три пощечины, а со всем тем не могу до сих пор притти в себя... И страшное дело: обыкновенное лекарство употребила, а страдания не прекращаются».

По отъезде этой дамы графиня стала сожалеть об ней; а как я и на этот раз рисовал узор в ее комнате, то не вытерпел и сказал: «Простите меня, ваше сиятельство, за смелость, что я позволю себе сказать вам: я не могу понять, как при вашей доброте вы тоже сожалеете о подобной женщине?» — «Э, милый! чем она, бедная, виновата, когда у ней болезнь такого рода?» — «Извините, ваше сиятельство, что я не соглашусь с вами: какая это болезнь? Это — глупость, каприз и безответность в своих действиях!» На что графиня уже тоном госпожи сказала: «Еще молод! И не осуждай, не зная, что есть на свете разные болезни, в которых искусство докторов бесполезно». — «В этом я не смею спорить с вашим сиятельством; но коли доктора ей не помогают, так посоветуйте ей простое народное лекарство, основанное на пословице: клин клином выгоняют. Итак, пусть она своим девушкам скажет: «Милые! Если я опять когда забудусь и кому-нибудь из вас дам пощечину, то вы, наоборот, тоже отвесьте мне две пощечины». И поверьте, ваше сиятельство, как

рукой снимет! Право, ваше сиятельство, посоветуйте ей». — «Э, милый! — сказала графиня, уж рассмеявшись, — как можно дать такой совет?» — «Что ж, ваше сиятельство! Это будет по пословице: рука руку моет. Ведь она же советовала вам лекарство от тоски, хоть вы, по упрямству своему, и не послушались ее советов, а это будет только совет за совет».

Вот был век! И во всем городе не было лица, которое посмотрело бы на этот случай с человеческой стороны; конечно, все это принадлежало времени.

Теперь бросим взгляд на другую сторону жизни тогдашнего общества.

Жили в Курске, как я уже сказал, весело, и это продолжалось до губернатора А. И. Н., со вступления которого в управление губернией (не могу определить точно времени, когда это было: в 1808 или 1809 году) общество начало расстраиваться и делиться на партии, так что к концу года его веселость исчезла, и если бывали какие-либо собрания дворян в одну кучу, то или по случаю чьих-либо именин или свадеб. Прислушиваясь во всех классах общества, я услышал один ропот на губернатора: первое — что при его средствах жил не по-губернаторски и даже, к стыду дворянства и своего звания, ездил по городу четверней, а не в шесть лошадей, и прислуги было мало, так что в царские дни, когда давал обеды, на которые, кроме должностных людей, никого не приглашал, и для такого небольшого числа посетителей приглашали для услуги людей из других домов; и даже за пятью

детьми или чуть ли не за шестью ходила одна девушка Сарра Ивановна; а как тут были и мальчики, то их, бедных, приучили с четырех лет самих одеваться, так что ей стоило только приготовить, что надеть. «Воля ваша,— говорили все,— это не по-дворянски!» Но главное, что возмущало все общество, это то, что он не брал взяток. «Что мне в том,— говорил всякий,— что он не берет? Зато с ним никакого дела не сделаешь». А в этом веке не было и жалобы на взятки, а был попрек от общества следующий: «Вот,— говорят,— был дурак — покойник такой-то: двадцать пять лет был секретарем пажданской палаты, а умер — похоронить было нечем!» В самом Курске было два человека, которых имена были записаны у каждого гражданина, имеющего дела, или в святцах или в календаре: это П. М. Торжевский и Л. С. Баканов; да в Судженском уезде было знаменитое лицо Котельников — тот самый, о котором Гоголь сказал в «Мертвых душах» несколько слов и в том числе фразу: «Полюбите нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит»²⁹. Все означенные три лица считались за благороднейших людей, потому что брали и делали; а то все служащее брало и ничего не делало. Последний был по веку удивительное лицо, хотя служба его была как бы черновая; он был всю жизнь письмоводителем при исправниках. Я как его узнал, то он выражался, что он уже на тринадцатом исправнике ездит. «Как приведут,— говорит,— с выборов нового исправника, а особливо который служил прежде в во-

енной службе, — приступу нет, точно дикий жеребец, бьется и задом и передом, и даже кусается; а как обгладишь хорошенько, так такой в езде хороший станет, что любо-дорого!» Этот человек отличался необычайной памятью, так что очень часто приезжали из других губерний спрашивать: что вот по такому делу не знает ли какого-либо закона, который бы был в пользу этого дела? И даже при выходе какого нового указа приезжали спрашивать: «Ну, что, Иван Васильевич, что вы скажете о новом указе?» — «Что же, ничего! Лазейки две есть». — И когда где случится дело, которое подходило под смысл этого указа, то, разумеется, тотчас бежали к Ивану Васильевичу, и он указывал лазейку, за что брал условленную плату. И его всегда считали за благороднейшего человека.

При таком взгляде на вещи, разумеется, губернатор не мог нравиться обществу, и даже полиция горько сетовала на него за следующее. В то время на театре играли комедию Судовщикова ³⁰ «Неслыханное диво, или Честный секретарь», в которой квартальный выведен не совсем с выгодной стороны, и каждый раз, как только давалась эта пьеса, содержатель обязан был отправлять несколько билетов полицеймейстеру, за что каждый раз и деньги были заплачены; а полицеймейстеру дан от губернатора приказ, чтобы эти билеты были раздаваемы квартальным по очереди и чтобы они были непременно в театре, а как сам губернатор всякий раз бывал в театре, то и мог видеть,

исполняется ли его распоряжение. В этой комедии есть следующая сцена: квартальный, из дворян, у председателя (который жаловался, что он нездоров) выразился: «Отчего вы, ваше высокородие, не пригласите докторов?» — «Ох, боюсь, я французов и немцев!» — Квартальный говорит:

Коль в страхе вы себя французу поручить,
У нас есть будочник — ужасно зол лечить.

Председатель

Да разве медике ваш будочник учился?

Квартальный

Он прежде в конюхах придворных находился;
А там какой-то был из немцев коновал,
Всю хиромантию и дохтурство он знал.
Так этот вкруг него всегда почти вертелся
И медицины препропасть насмотрелся:
Припарку ли сварить, проносное ли дать —
Все знает. Мне вот он старался помогать...

(Показывает на подбитый глаз.)

Председатель

Что это у тебя?

Квартальный *(смеясь)*

За храбрость дали звезду.
Третьева дня я был в театре у разъезду, —
Так кучер там меня нечаянно задел
По роже кулаком.

Председатель

И ты не возымел
Претензий на него?

Квартальный.

Да где мне с ним тягаться!

Тебя же обвинят: ну как, дескать, связаться

Не стыдно с кучером? Да это мне пустяк!

Случается, что нас колотят и не так.

Председатель

Да, должность такова. Тут нечему дивиться.

За то в другой статье ущерб вознаградится.

(Указывает на карман).

*Оба смеются, а кварталный кланяется председателю
с видимым почтением.*

И весь город сожалел о бедных квартальных, которые самым начальством публично были выставляемы как бы на поругание.

Вот был дух общества с 1801 до 1816 года! Но, к сожалению, это было не в одном Курске. В 1816 году я уже расстался с Курском навсегда, и первый дебют был в Харькове, где скоро увидал все то же, и доказательством тому служит повесть графа Сологуба «Собачка»³¹. Она писана из моего рассказа, и все было в действительности так, как описано, и автором даже еще много смягчено.

Вот было время! Благодаря богу, мы настолько уж выросли, что теперь сами стыдимся тогдашнего образа мыслей, а потому и Курску в настоящее время нечего оскорбляться за высказанную истину.

Мои записки будут иметь одно достоинство — истину. Я ничего не солгу, я записываю только то, что было в действительности.

[IX. ДОБРОЕ СТАРОЕ ВРЕМЯ]

Многое, виденное мною в жизни, я не записывал: но время, этот великий учитель, указало мне необходимость передать людям многое, чему я был свидетелем: оно будет дорисовывать тот век и образ мыслей людей тогдашнего времени.

Следующий рассказ я вспомнил по случайной причине: года три назад я был в одном доме вместе с генералом А. Д. Ч.³², который давно меня знал и всегда, так сказать, дарил меня своим вниманием. Завязался разговор о настоящем времени, о том движении, которое зашевелилось во всех слоях общества. Многие он одобрял, против многого восставал; а я, со своей стороны, сказал ему, что переходное состояние всегда было таково: пред нами прошедшие семь тысяч лет, из которых ясно видно, что народы не годами растут, а веками. Слава богу и то, что мы доросли до мысли и не стыдимся уже сознавать, что у нас есть много дурного; а молодое наше поколение воспользуется прошедшими ошибками и найдет лекарство. «Поверьте, — сказал я, — все идет к лучшему. Ах, да! читали вы, А. Д., стихи к молодому поколению Щербины³³?» Он отвечал: «Нет». — «Не угодно ли, я их прочту?» — Когда я прочел, он сказал: «Да, хороши; жаль только, что это — фразы и нейдут к нынешнему молодому поколению, потому что современное молодое поколение — дрянь; в наше время было не то, наше поколение было не нынешнему чета». Такие речи меня реши-

тельно ошеломили и взволновали так, что я, стараясь затушить внутреннее волнение, сказал весьма тихо: «Ваше превосходительство поставили меня в тяжелое положение; оспаривать ваше мнение при вашем чине—неловко, а согласиться с вашими словами в мои годы будет бессовестно. Всмотритесь в меня, генерал, я не моложе вас, а русскую жизнь едва ли знаю не лучше вас; вы ее знаете от дворца и до ваших гостиных, а я ее знаю от дворца до лакейской. У вас не было жизненного толчка, который бы заставил вас поглубже заглянуть в настоящую жизнь; но моя дорога жизни не была так выровнена обстоятельствами, как ваша, да и самый род моего искусства заставлял меня поглубже вникать во все слои общества; потому я и не мог вынести из жизни тех приятных воспоминаний, которые так живо вам представились. Нет, генерал, и в наше время было много дурного, а многое было во сто раз гаже; но мы-то с вами тогда не доросли еще до того, чтобы понимать это». Тут я сам почувствовал, что выразился уже немножко резко, и прибавил: «Простите меня, генерал, за мою горькую истину: что делать, я мало жил в вашем кругу и потому не приучился золотить истину и передаю ее во всей наготе; а чтобы убедить вас, что это с моей стороны не заносчивая выходка, но истина, прошу вас выслушать, если не поскучаете, рассказ о случае, которого я был свидетелем и над которым все современное нам с вами, генерал, поколение хохотало тогда, а у вас от моего рассказа последние волосы станут дыбом».

— Пожалуйста, Расскажи, что за случай,— отвечал он.

— В 1802 году, как видно из моих прежних рассказов, я находился в народном училище, и так как я, будучи крепостным, имел дерзость быть первым учеником, то весь город знал меня и называл не иначе, как милый Миша, умный Миша; меня даже гладили по головке и ласково трепали по пухлым щекам. Хотя лет мне было не много, однако, я был уже тогда официантом. В это время в Курске стоял полк; командир этого полка, князь И. Г. В., был с нашим господином в коротких отношениях, а потому, когда летом, в день своего рождения, он вздумал для города дать обед и бал в лагере, то просил графа прислать людей для услуги. Это было в воскресенье, и я стал не ученик, а официант; на нас были возложены все хлопоты; мы отправились очень рано и, что нужно, захватили из дому. К назначенному времени все было нами приготовлено, и я вместо отдыха пошел по палаткам знакомых офицеров, которые все меня знали и ласкали; между прочим, прихожу в палатку И. Ф. Б., где находилось еще несколько офицеров, и слышу спор: И. Б. держит на 500 руб. пари с другим офицером, что у него в роте солдат Степанов выдержит тысячу палок и не упадет. Это меня чрезвычайно поразило, тем более, что мы знали И. Б. как благородного человека; но вот каково было наше хваленое время. Я, сознаюсь, старался скрыть мое волнение, боясь быть уличенным

в такой слабости. Между тем послали за солдатом, и вот явился мужчина вершков восьми, широкоплечий и порядочно костистый. Б. нестрогим голосом, а так, будто дружески, предлагает ему следующее: «Степанов! синенькую и штоф водки — выдержишь тысячу палок?» — «Рады стараться, ваше благородие!» Мне казалось, что я обезумел; я незаметно вышел из палатки. Степанов тоже вскоре вышел оттуда, и, когда он проходил мимо меня, я не утерпел и сказал: «Как же ты, братец, на это согласился?» В ответ на это он просто объяснил задачу: «Эх, парнюга, все равно даром дадут!» — махнул рукой и пошел как ни в чем не бывало. Желчь разлилась во мне, и я пошел в палатку князя, где уже было много гостей. Как балованный всеми мальчик, я хожу по палатке и смеюсь, но это был желчный смех... Князь, погладив меня по головке, спросил: «Чему ты, милый Миша, смеешься?» — «Меня, ваше сиятельство, рассмешили ваши офицеры». — Тут я рассказал ему забавную шутку и их пари. и поверите ли: все это принято обществом с хохотом, а некоторые даже повторяли: «Ах, какие милые шалуны!» А другие отзывались: «А! каков русский солдат? Молодец!» Кажется, одно только существо посмотрело на этот случай человечески. Это Александра Абрамовна Анненкова³⁴, которая сказала князю: «Князь, пожалуйста, хоть для своего рождения не прикажи; право, жалко, все-таки человек!» Тогда князь, обратясь ко мне, сказал: «Миша, поди, позови сюда шалунов». Я исполнил, и, когда они вошли, князь

сказал им: «Что вы, шалуны, там затеяли какое-то пари? ну, вот дамы просят оставить это; надеюсь, что просьба дам будет уважена». Вот, генерал, наше хваленое время!

— Но один частный случай не обрисовывает всего общества,— отвечал он.

— Ну, так вот вам другой, бывший гораздо позднее. Когда кончилась кампания 12 года ³⁵, ополченные возвратились домой, а крепостные к своим господам; за тех, которые не возвратились, правительство выдало рекрутские квитанции, и одна дама, очень образованная по времени и обществу (даже крепостные отзывались о ней, как о доброй женщине), у графини на именинах, за обедом, не краснея, позволила себе сказать в разговоре о прошедшей кампании: «Вообразите, какое счастье Ивану Васильевичу: он отдавал в ополчение девять человек, а возвратился всего один, так что он получил восемь рекрутских квитанций ³⁶ и все продал по три тысячи; а я отдавала двадцать шесть человек, и, на мою беду, все возвратились — такое несчастье!» При этих словах ни на одном лице не показалось даже признака неудовольствия против говорившей. Все согласилось, а некоторые даже прибавили: «Да, такое счастье, какое бог дает Ивану Васильевичу, не многим дается!»

Тут кто-то приехал из гостей, и разговор наш кончился. Во всем этом разговоре нет ни слова лжи, а святая истина, и я счел обязанностию занести его в мои записки.

В 1831 году директор М. Н. Загоскин³⁷ вздумал поручить мне драматический класс в школе³⁸. Не чувствуя себя совершенно способным, я поблагодарил его за это предложение и тут же сознался, что не чувствую себя способным для такого, по моему мнению, весьма важного дела, тем более, что я плохой декламатор³⁹. На это Загоскин отвечал: «В сторону всякую скромность! Скажи: кто же в настоящее время опытнее тебя? К тому же вся твоя обязанность будет приходить в школу и из находящихся там детей ставить спектакли, чтобы воспитанники знакомились со сценой и искусством, а это мне даст возможность прибавить к получаемому тобой жалованью 2 000 руб. ассигнациями, что при моем многочисленном семействе будет не лишнее». И точно, семейство мое состояло тогда из 24 человек. После таких убедительных доводов я, разумеется, согласился. «Прикажите же,—сказал я,—назначить часы, когда я должен буду являться в школу».—«Нет, милый этого назначить я не могу, а ты иногда заходи в школу, и когда дети не заняты, в то время и займись ими». Приняв на себя обязанности такого рода и привыкнув исправлять все свои обязанности добросовестно, я редкий день не бывал в школе; даже и в те дни, в которые играл, я заходил туда до или после репетиции. Скоро я покороче познакомился со всеми

детьми. Так как часто бывало, что режиссер, по случаю какой-либо перемены или чьей-либо болезни, присылал в школу роли для отдачи воспитаннику или воспитаннице, то я просил его присылать роли прямо ко мне, а я уже сам укажу, кому их отдать. Присылаемые роли я раздавал кому следует, разумеется, соображаясь со средствами; дети заметили, что я никого не минуя и раздаю роли совершенно справедливо: это приобрело мне их любовь, и мы жили дружно, учились понемногу, но с толком.

Однажды как-то я играл, не помню, в какой пьесе, в которой одна роль была отдана выпущенной из школы уже около полугода девице Сор(оки)ной. Роль ее была небольшая, но она поразила меня своим гармоническим голосом; притом каждое ее слово было от сердца. С собой она не была красавица, но у ней была красота молодости, прекрасные формы и чрезвычайно выразительное, говорящее лицо, так что я не утерпел и после спектакля спросил у ней: почему она, бывши в школе, не хлопотала, чтобы играть в спектаклях? «Эх, Михаил Семенович, кому было обо мне хлопотать? — отвечала она. — Сама же я так робка и так недоверчива к себе, что ничего в себе не находила, потому и не решалась просить роли. Благодаря нашему учителю Н. И. Надеждину⁴⁰ я смотрела на драматическое искусство, как на что-то великое и для меня не достижимое». — «Ну, а я все-таки поговорю с режиссером, чтоб он обратил на вас внимание». Потом мне странно казалось, что она шесть месяцев как выпу-

щена из школы, а одевается хотя чисто, но бедно. Конечно, ее выпустили на 250 руб. ассигнациями жалованья; однакож многие ее товарки, получая такое жалованье, уже щеголяли в шелку и бархате, а она не выходила из холстинного платья. Разумеется, я сказал о ней режиссеру и полагал, что с моей стороны все сделано; а потом занятия по сцене и по школе отвлекли мое внимание, и под конец я совершенно забыл о ней. Как-то месяцев через шесть прислали роль в школу, и когда я взглянул на нее, тотчас вспомнил о Сор—ной; тогда же отправился в театр и говорю: «За что же взяли роль у Сор—ной»? Режиссер отвечает мне, что роль передана по ее болезни. «Это дело другое, а впрочем, может быть, она скоро оправится». Режиссер говорит мне, смеясь: «Конечно, оправится, только не так скоро; попросту сказать — она беременна». Это так обыкновенно было на нашей сцене, что я махнул рукой и сказал: «Ну, бог с ней, а жаль, девушка славная». Я даже не спросил, кого она любит. Потом через несколько времени она опять показалась, но какая-то грустная, очень похудевшая и все в холстинных платьях. Не могу определить времени — через год, а может быть, и более, — приходит на репетицию в театр служащий у коменданта г. Д—в. Он был из числа коротких знакомых директору театра: подобные лица допускались по воле директора, и он очень часто бывал в антрактах на сцене вместе с директором. Мы все хорошо его знали. По окончании репетиции он подходит ко мне и говорит: «Ведь

сегодня вы свободны, подарите мне несколько времени, у меня к вам есть серьезная просьба; но этой просьбе будет предшествовать многое, с чем я должен вас наперед познакомить. Тогда вы вполне поймете всю важность моей просьбы. Поедемте без церемонии в гостиницу, возьмем особую комнату, пообедаем там, и я буду иметь время рассказать вам все». Не находя причины отказать, я изъявил свое согласие. «Позвольте мне только распорядиться,—сказал я,—сказать дома, чтобы меня не ждали обедать: семейному человеку нельзя без этого».

Мы отправились в Троицкий трактир, где заняли наверху свободную комнату и велели давать обедать. За обедом Д—в спросил меня, знаю ли я, что он близок с Сор—ной и что эта связь продолжается года полтора. Я заметил, что по болезни Сор—ной знал о ее отношениях к кому-то, и что если этот кто-то — он, то пусть не погневадается. Тут я упрекнул его в скупости: как же девочка до сих пор не выходит из холстинных платьев? — «Благодарю вас, М. С., за ваш выговор, он-то меня и оправдывает перед нею, хотя я совершенно виноват без оправдания. Я вам сейчас расскажу все подробно, а вы пособите вашим советом, как бы мне достигнуть цели. Вот в чем дело: по дружеским отношениям с директором, я каждый день бывал за кулисами и еще за год до ее выпуска как-то обратил на нее внимание и, к моему удивлению, нашел в ней то, чего не замечал ни у кого из ее подруг — светлый ум, теплое сердце; желая найти развлечение

в будущем, я почти ни с кем, кроме нее, не разговаривал. Это произвело на нее сильное впечатление, и она всей душой привязывалась ко мне все более и более; мне, признаюсь, это было приятно. Хотя я сам и не платил ей тем же, но она в пылу страсти ничего не видела и о простых светски-любезных речах думала, что все они от сердца. Наконец, ее выпустили, как вы знаете, на 250 руб. ассигнациями жалованья. Я, человек со средствами, мог обеспечить ее и современем с приличным приданым выдать замуж, почему и решился продолжать атаку. Вскоре по выпуске она играла в какой-то пьесе, и я спросил ее в антракте: играет ли она до конца пьесы? — «Нет, — отвечала она, — я кончила, но меня одну не повезут; надо дожидаться окончания спектакля». — «Так, не хочешь ли, я довезу тебя * и кстати узнаю твою квартиру: надеюсь, ты позволишь мне навестить тебя». Она вспыхнула и проговорила: «Да как же, ведь это заметят, пойдут сплетни. Уж и так, от того только, что вы со мной ласково обходитесь, сколько об этом сплетней!» — «Если ты не желаешь, чтобы нас видели, выходи за угол театра, а я буду там с экипажем». И в то же время я взял ее за руку, которая была вся в огне и дрожала; она сжала мне руку, почти задыхаясь проговорила: «Хорошо!» — и тотчас же ушла. Я, разгу-

* Читателю может показаться странным, что мужчина говорит девушке ты, а она ему вы; но таково было доброе старое время! (Прим. автора.)

меется, не замедлил распорядиться экипажем. Она явилась; я посадил ее в экипаж и, не спрося об ее квартире, велел ехать: кучер уже знал куда. Она была в таком волнении, что когда приехали... она не обратила внимания, куда ее привезли. Когда мы вошли в комнату, она была в каком-то беспамятстве; только глаза, обращенные ко мне, горели страшно... Потом, признаюсь, мне сделалось совестно перед ней, и я хотел избытком ласк привести ее в себя, но ничего не помогало. Наконец, я спросил о ее квартире, куда решился довести ее сам. Всю дорогу она была в том же состоянии, минутами судорожно схватывала мою руку, целовала ее, а напоследок на прощанье обняла меня и так поцеловала, что, признаюсь, не нахожу слов, чтобы выразить это движение словами. В ту же минуту залилась она горькими слезами и сквозь рыдания едва могла проговорить: «Заезжай завтра хоть на минуту, или я, право, умру». Я, разумеется, дал слово и пропустил ее в калитку, а сам отправился домой и чрезвычайно был недоволен собой и своим скверным поступком: точно я сделал какое-то воровство. Ну, думаю, чтобы поправить все это, я наведу ей таких гостинцев, каких она не ожидает, и, надеюсь, она, бог даст, забудет о своей потере. На другой день, освободившись от служебных обязанностей, я тотчас поехал на Кузнецкий мост⁴¹ и накупил всего, что, по моему мнению, было для нее понужнее. Я не жалел денег; тут все было: бархат, материя для платья и бриллианты. Я заранее

утешался мыслию, какое это доставит ей удовольствие. Она встретила меня в дверях и с несказанно-радостным лицом бросилась мне на шею. Через несколько минут человек мой внес в комнату корзины и разные узлы с покупками. Когда он вышел, она спросила: «Что это?» Я сказал, что это гостинец, для нее, и что есть еще прибавка, и вынул из кармана бриллиантовую брошку и пакет с двумястами рублей. «Последнее, разумеется, на твои расходы, — сказал я, — я не хочу, чтобы ты нуждалась в чем-нибудь». И вдруг из радостного ее лица сделалось что-то страшное, смертная бледность покрыла ее розовые щеки, и она с трудом выговорила: «И это все мне? мне?» — «Да, моя милая! что ж ты так огорчилась? я хотел доставить тебе удовольствие этой безделицей». Но при этих словах из ее груди вырвался какой-то страшный стон: она зашаталась и, если бы я не поддержал ее, упала бы на пол. Усадив ее, я старался ее успокоить. Уж я и сам не знаю, чего я ей ни говорил, но на все это ответом были рыдания. Наконец, придя в себя, она встала и, указав рукой на дверь, сказала мне: «Извольте меня оставить и унесите с собой все ваши драгоценности; я не продавала себя! Если я пожертвовала вам собою, то не из корысти; я думала, что из этой жертвы вы поймете всю силу моей любви к вам. Вы меня не поняли, я обманулась в вас, прощайте навсегда!» И с этими словами, хлопнув дверью, она выбежала вон.

Не берусь описать вам мое положение. Но мог ли я ожидать, что найду в этой театральной сфере такое существо, когда и в лучших слоях общества мы не встречали подобных явлений. Я, разумеется, не любил ее; но этот поступок заставил меня уважать ее, а где уважение, там и любовь. Не стану утомлять вас подробностями; скажу только, что мне было ужасно тяжело, пока мы не помирились, и она простила меня из снисхождения к моим страданиям, которые были на этот раз непритворны. Я бывал у нее каждый раз и каждый раз сам делался лучше; я уже ничего не предлагал ей, и она была счастлива в холстинных платьях; я с каждым днем более и более любил ее и все время, свободное от службы, проводил с ней, только уезжал пообедать. Раз как-то я сказал ей: «Я бы и пообедал у тебя, да тебе самой есть нечего, а если б ты позволила, я бы дал тебе денег на мои обеды». Она улыбнулась. «Обо мне не заботься,— сказала она,— я сыта! А если тебе захочется пообедать у меня, то подле меня гостиница; ты можешь распорядиться, чтобы тебе в известный день и час приносили обед, но только не часто. Ты не забудь, что у тебя отец и мать, а они редко тебя видят: это нехорошо».

Наконец, у меня блеснула мысль: почему бы мне не жениться на ней. Ведь лучшей жены, думал я, нельзя уже найти; но, признаюсь, неравенство положений — этот вековой предрассудок — затушил мою светлую мысль. К моему удивлению, как-то раз утром, против обыкновения, зашла мать на мою поло-

вину и нежно стала жаловаться, что я совсем забыл ее, что мы почти не видимся. «Поутру уезжаешь на службу, не повидавшись, — говорила она, — а вечером возвращаешься тогда, когда мы уже в постели». Я хотел было извиниться, но она остановила меня: «Не сочиняй ничего, я все знаю; знаю, где ты проводишь время, и признаюсь — согрешила: через некоторых добрых знакомых узнала о ней все. Знаю, что она добрая, скромная девушка, и если ты и сам в ней все находишь и думаешь, что она необходима для твоего счастья, так лучше женись на ней. Я уже говорила об этом с отцом, и он согласен». Я не знал, как и благодарить ее, и рассказал ей все наше прошлое. Это имело на матушку такое влияние, что она рыдала, как дитя, и в порыве материнского чувства обняла меня, поцеловала и благословила, приговаривая: «Нет, голубчик, женись, непременно женись. Бог тебе дает не жену, а сокровище. Да и на душе твоей будет большой грех, когда ты этого не сделаешь! А уж нам, старикам, будет вечная радость: кроме того, что ты будешь постоянно дома на наших глазах, ты будешь еще и счастлив, обладая таким сокровищем». Я в тот же день после службы отправился к ней с приятною вестью, и, когда вошел, она узнала по лицу, что случилось что-нибудь приятное. «Что с тобой? — спросила она: — я давно не видала у тебя такого веселого лица». — «Да, я принес тебе весть, радостную для нас обоих. Старики мои как-то узнали о тебе и позволяют мне жениться, и вот, дружочек, я, как жених, прошу

твоей руки». Выразить ее радость невозможно. Она залилась слезами, обвила мою шею обеими руками и говорила сквозь слезы: «Теперь, мой милый, я вполне счастлива, поступок твой доказывает ясно, что ты меня любишь так же сильно, как я тебя. Чтобы отблагодарить тебя за всю твою любовь, я не пойду за тебя. И на что мне идти? Ведь я счастлива. Я знаю, что это жертва с моей стороны; но она для полного моего счастья необходима. Ты рассуди сам: ты просишь руки с воли родителей; удовлетворяя твое желание и сделавшись твоей женой, чем бы я заплатила тебе за любовь твою и за доброту твоих родителей? — неблагодарностью. Я внесла бы с собою в твое семейство позор; ведь люди не забудут, что я была такое, не простят моей дерзости и разными намеками будут шпиговать меня, а вы из-за меня должны будете краснеть перед всеми. Обдумай хорошенько мой отказ, оцени его, как следует, и ты сам увидишь, что я делаю то, что должна сделать честная девушка. Предложение твое я глубоко оценила сердцем, оно совершенно уверило меня в твоей любви, чего же мне больше? Я счастлива, не осуждай моего отказа, он идет прямо от любящего сердца».

Д—в очутился в самом тяжелом положении и поспешил ко мне с просьбой поговорить с нею, объяснить, что это с ее стороны излишняя жертва. «Я знаю, что она вас очень уважает,—прибавил он,—и слова ваши для нее будут действительнее других». Я обещал исполнить его просьбу и тут же прибавил, что посту-

пок с ее стороны благороден, что осуждать его ни у кого не достанет духу, что я душевно желаю, чтобы мои хлопоты принесли пользу, хотя, после всего сказанного им, сомневаюсь в успехе. На другой же день я был у нее и действительно не имел успеха. «Я не сказала ему главной причины моего отказа, — заметила она, — но вам скажу в надежде, что это останется между нами. Сделавшись его женой, я каждую минуту должна страшиться за него и за себя. На свете так много злых языков! Кто-нибудь язвительно посмеется надо мной, и, при его любви ко мне и пылкости характера, он вздумает защищать меня; из этого может выйти ссора, которая, пожалуй, кончится дуэлью и даже его смертью, и я буду тому причиной. Поставьте себя на мое место и судите, как бы вы поступили. К стыду моему, я должна еще прибавить, что страшусь и кое-чего другого: теперь, когда, сидя у меня, он жалуется, что у него болит голова, я этому верю, потому что если б он разлюбил меня, то мог бы оставить, а когда я сделаюсь его женой и у него в самом деле заболит голова, я, несчастная, могу подумать, что все это происходит от меня. Что ж это будет за жизнь! Нет, мое решение неизменно. Благодарю вас, Михайло Семенович, за участие; сожалею, что не могла исполнить ваше желание, тем более, что я вас очень уважаю; не забывайте меня и сохраните в тайне то, что я вам сказала». Когда я передал ему разговор наш и ее твердую волю, он стал просить у меня совета: что же делать? Я посоветовал ему обратиться к

матери. «Так как родители уже изъявили свое согласие, то упросите вашу матушку, — сказал я, — съездить к ней и самой переговорить с нею; женскому уму знакомее, чем можно тронуть струну сердца, а особенно, когда все будет высказано голосом матери».

Он так и сделал, но через несколько времени я узнал, что она согласилась на одну только уступку, и то по просьбе старухи-матери, которая убеждала ее со слезами на глазах: «Не лишай же нас сына, переезжай к нам в дом; ты будешь иметь особую комнату, и сын будет с нами». На это она согласилась. Когда она переселилась к ним в дом, с ней обходились как с невесткой; но она постоянно держала себя в стороне от общества. Так, например, она сидит с стариками и читает им что-нибудь (она очень хорошо читала и тем доставляла большое удовольствие); вдруг у подъезда застучит экипаж — она тотчас вскакивает и уходит с книгою в свою комнату. Старики от нее ожили, они не могли налюбоваться на нее и иногда заводили речь о браке, но все было напрасно. Это продолжалось не менее двух лет.

Как-то на разводе Д—в простудился и, надеясь на свою молодость, думал обойтись без медицины. У него сделалась страшная нервическая горячка. Тут на нее нельзя было смотреть без сострадания. Она не отходила от него ни днем, ни ночью и уже не пряталась, кто бы ни приезжал навестить больного. Наконец, доктора сказали, что он в большой опасности, что зав-

тра будет перелом, и, бог даст, может быть, молодая натура возьмет свое. И в самом деле на другой день он пришел в себя и стал узнавать всех, только был еще очень слаб. Доктора сказали: «Ну, вот, слава богу, лучше: что-то завтра будет? Не давайте ему много говорить, это при его слабости вредно, а лучше рассказывайте ему что-нибудь забавное, чтоб он иногда улыбался, это для него было бы хорошо». И, по словам матери, она, бедная, исхудалая, сочиняла для него забавные рассказы. Право, жаль, что некому было записывать! И откуда что бралось у нее! Когда случалось, что при рассказе больной улыбался, радости ее не было границ. Так она занимала его до последней минуты его жизни. Болезнь взяла свое, больной скончался, и в комнате его послышался страшный истерический хохот. Вбежавшая мать нашла его уже мертвым, а она со страшным хохотом говорила что-то бессвязно и дико. Приехал доктор и сказал, что она сошла с ума.

И вот прошло уже двадцать пять лет, а она все хохочет и вяжет чулки для покойника. Я думаю навестить ее в сумасшедшем доме, взглянуть на нее.

Было бы грешно не записать этой истории.

У них осталось двое детей, которые были помещены в воспитательный дом. Мать покойника, по смерти своего мужа, не имея близких родственников, обратила все свое состояние в деньги и положила их в ломбард на имя детей своего сына. Где они теперь, что с ними сделалось? — положительно не знаю.

[XI. ПОСЕЩЕНИЕ М. С. ЩЕЛКИНЫМ
МОСКОВСКОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА
КНЯЗЯ В. С. ГОЛИЦЫНА В РОЖЕСТВЕНЕ]

С. Т. А(ксаков)⁴² в своих литературных воспоминаниях очень много говорит о московском театре и, между прочим, об А. И. Писареве⁴³, который служил при театре помощником репертуарного инспектора. Это была замечательная личность. Много им рассказано о нем очень интересного, но много еще не досказано. Кое-что он упоминал, а кое-что он и не знал подробно. Считаю святою обязанностью дополнить все, что упущено. Это еще более пояснит эту даровитую натуру. Так, например, он упоминает о двух случаях. Первое — о сюрпризе, данном труппой и многими почитателями е(го) с(иятельства) в Рождестве, в день именин Д. В.⁴⁴ и для которого писал Писарев куплеты⁴⁵. Второе — как один водевиль Писарева был публикой ошикан. И первое и второе имели свое предыдущее и последующее, и все это вместе дорисовывает и эту великую болезненную и желчную натуру, а равно пояснит, в каком положении мы были в обществе, а равно покажет ту перемену, которая изменила все общество в отношении к артистам, чему был главною причиною сюрприз, данный в Рождестве истинно покровителю искусства, Д. В. Голицыну.

Месяца за полтора, или, может быть, и менее до упомянутого праздника Писарев по обязанности своей

сделал маленькое замечание актрисе Вет(ринской) за ее неисправность и невнимание к своим обязанностям и сделал это довольно деликатным образом. Но она не поняла этой деликатности, очень оскорбилась, при первом случае пожаловалась князю и в жалобе своей изменила всю сущность дела и в дополнение прибавила, что он ее при всей труппе оскорбил и что он наговорил ей грубых фраз. Князю, при его прямодушии, никак не могло притти в голову, чтобы женщина могла бесстыдно лгать. Принял это за истину и, смотря на искусство с уважением, приказал Кокошкину, директору театра ⁴⁶, чтоб он передал Писареву, чтоб он умел обращаться с дамами и не позволял бы себе неприличного тона, а нето он выгонит его из службы.

Можете себе представить, какое страшное действие произвели эти слова на эту болезненную натуру. А тут еще Загоскин приставал к нему с предложением написать Дмитрию Владимировичу куплеты для написанной им интермедии. «Да, — желчно ответил Писарев, — стану я ему писать куплеты, разве за то, что он хочет выгнать из театра, который в настоящее время составляет всю мою жизнь».

Но когда прошел порыв негодования и, припомнив эту благородную личность, его современный взгляд на искусство, и припомнив все то, что было в нем прекрасного, он ясно понял, что Ветринская много наврала такого, чего совсем не было, и что простая чистая душа не могла допустить, чтобы женщина могла позволить себе наглую ложь, он совсем забыл свое, так

сказать, оскорбление. И, как в князе столько было прекрасных человеческих сторон, и только взяв их в соображение и не прибегая к лести,—в его куплетах выразилась только одна истина и вылилась так тепло, так симпатично, что все приходили в восторг и в день праздника, который весь рассказан г. Араповым⁴⁷ в особой брошюре. Потому я не скажу о нем ни слова, а скажу только о том впечатлении, которое произвели куплеты на князя и во время чтения их на сцене и потом, когда подали их князю, то, и читая их, он рыдал, как ребенок.

Да! Видеть старца, украшенного сединой и заливающегося сладкими слезами, несмотря на свой высокий сан, — все это сильно шевелит душу.

А что же было в этих куплетах? Ничего более, как прошедшая его, ничем не упрекнутая жизнь, и — только.

После представления нас всех пригласили в гостиную. И, высказав свою благодарность прежде начальству, потом обратясь к Писареву и взяв его за руку (князь) сказал: «Вы меня, старика, такою минутой подарили, какой я никогда не забуду, и смело скажу, что в продолжение всей моей жизни этого дня отрадней я ничего не помню».

Потом, обратясь к нам, изъявил свою благодарность и предложил нам быть его гостями и, главное, быть совершенно свободными. И в продолжение целого вечера он очень часто оставлял своих гостей, обращался к кому-нибудь из нас совершен-

но просто, без желания дарить нас своим вниманием.

Да! Были тут в первый раз в жизни приняты не как актеры, а тоже как люди. Надо было видеть, какое влияние имело (это), не говорю на нас, а на Писарева, — и тут, сжав мне руку, «я не знал еще этой стороны его» (говорил Писарев). Но что же было с ним, когда за ужином князь оставил всех и поместился между нас, говорил мне об этом искусстве, в каком состоянии оно находилось в Европе, и предложил, чтобы драматическое искусство развивалось художественным образом; потом другой тост за артистов, которые подарили его таким вечером, с душевным желанием нам великих успехов именно в искусстве.

[XII. РАССКАЗ М. С. ЩЕПКИНА О ЕГО ВЫКУПЕ]⁴⁸

... Возвратясь в Полтаву, подписка продолжалась. С. М. Кочубей подписал 500⁴⁹; полковник Таптаков⁵⁰ играл в карты на мое счастье и половину выигрыша подписал — 1 100 руб. Вся эта подписка поручена была кому-то из канцелярии князя⁵¹; и как это было не слишком аккуратно сделано, то к тому времени, как он известил о возможности окончить дело, то собранных денег оказалось налицо 5 500 руб., остальные недостающие деньги князь положил свои. И Новиков призвал меня к себе на дом и говорит, что князь поручил ему меня спросить, что нет ли у него в Курске такого знакомого человека, которому бы

князь мог дать доверенность и переслать деньги для расчета с опекуном, а равно и составить формальный акт. Я говорю, что в Курске есть человек, который меня всегда ласкал и давно знает, это директор гимназии И. С. Кологривов, — он же был и директором театра, — и я уверен, что он, по доброте своей, не откажется похлопотать для моего счастья.

— Так ты, — говорит, — напиши к нему и упроси его, чтоб он для князя, а вместе с тем и для тебя принял на себя эти хлопоты, и что ежели он согласен, то известил бы тебя о своей готовности быть тебе полезным, а вместе с тем он доставит и князю большое удовольствие.

Разумеется, я написал к Кологривову и чрез полнедели получил ответ, которым он извещает, что душевно рад быть мне полезным и что он князю будет очень благодарен, что он поручит (ему) это благородное (дело) и спасибо тебе, что отнесся ко мне и не (к) кому другому, — это значит, что ты помнишь, как я тебя всегда (?), даже еще в народном училище, когда ты учился.

Письмо к Новикову я отнес, и князь деньги 8 500 — 500 руб. на совершение акта — и доверенность на совершение акта при своем письме послал к Кологривову. В исходе 1818 года, кажется, в декабре, Котляревский⁵² известил меня, что все кончено и купчая крепость прислана князю.

Эта весть так меня озадачила, что я не скоро собрался с духом спросить, какая крепость — ведь меня

князь выкупал, а не покупал? Наконец, решился спросить и в ответ услышал вот что.

— Это, — говорит, — сделано по необходимости. Опекун спрашивал разрешения для продажи, следовательно, и акт должен состояться в такой же форме; к тому же князь своих прибавил 3 000 руб., которые ты обязан, разумеется, заслужить.

— Что же, — говорю я, — отца с семейством мне надо привезти в Полтаву, то попросите князя, чтобы он написал к опекуну, чтобы он хотя ссудил подводами для перевозки моего семейства, а то в настоящем моем положении я не имею средств, а и жить на два семейства тяжело, ибо, по совершении купчей, отец мой, вероятно, лишится тех пособий, которые получал от имени, как и вообще все дворовые люди.

— Об этом я, — говорит, — скажу князю.

— Да попросите, пожалуйста, чтобы до весны не лишали его (?), потому что тотчас нельзя ему отпавиться. У него было хозяйство, скот, лошади, пчелы, — все это надо продать, хоть за бесценок.

— Хорошо, это все князь напишет.

И вот я, вместо свободы, опять крепостной, с тою только разницею, что прежде отец получал от управляющего делами, по назначению бывших господ, хлеб, крупу, дрова, сено и жил в своем доме, а теперь все это будет на моих руках: отец, мать, брат, четыре сестры, племянница, потом я с женой и тремя детьми, что составит несчастное число 13. Какой из этого будет выход — один бог разгадает. Подумаю, что при

двух тысячах жалованья, которое я получаю, с 13-ю душами семейства, я никогда не выплачу князю 3 000, которые я (он) заплатил. Хотя в Полтаве жизнь и не дорога, но все этих денег неостанет на содержание семейства: одна квартира с дровами около 500 руб., потом работница, потом на 13 человек чайку, сахарцу, потом пища, обувь, одежда. Ну, думаю, у меня жена мастерица жить, сестры будут помогать, — бог даст, как-нибудь проживем, а в будущем, что бог даст. И еще добросовестнее начал заниматься моим делом и более подумывать о том, что играешь.

Наконец, пришла весна, семейство отца перевезено в Полтаву, не на подводах, а отец мой нанял извозчиков, и, как продал все хозяйство, по скорости хотя очень дешево, — и у него были деньги, чем заплатить, и мы устроились помаленьку хозяйством.

Брата ⁵³, который взят был из уездного училища, в скорости поместили в гимназию, по ходатайству директора Котляревского, и пошла наша жизнь тянуться самым недостаточным образом.



А. ДЕРМАН

ЧЕРТЫ ИЗ БИОГРАФИИ
И ТВОРЧЕСТВА
М. С. ЩЕПКИНА

1. ЩЕПКИН В ПРОВИНЦИИ

Если первым выступлением Щепкина на подмостках настоящего театра считать (как и сам он считал) сыгранную им роль Андрея-почтара в «Зое», что произошло в исходе ноября 1805 года, а его дебют в Москве (после которого Щепкин еще некоторое время продолжал играть на провинциальном театре) в загоскинском «Господине Богатонове» 20 сентября 1822 года считать началом столичной деятельности, то получится без малого семнадцать лет работы на провинциальной сцене. Этого громадного периода Щепкин лишь бегло коснулся в своих «Записках».

Вернемся прежде всего к пребыванию Щепкина в Курске. Здесь он прожил лет пятнадцать в общей сложности, становясь постепенно профессионалом-актером провинциальной сцены, но в то же время неуклонно перерастая ее средний уровень. То, что было характерно для провинциального актера той эпохи — беззаботно-небрежное отношение к исполняемой роли, Щепкину было чуждо. Попрежнему, как и в годы детства, театр почитался им чем-то великим, священным, и, как бы ни была ничтожна порученная ему роль, он отдавал ей все свои силы. Именно это сохранило его громадное

природное дарование в неблагоприятных условиях работы глухой провинции того времени.

А условия эти были поистине тяжкие. Репертуар был по большей части самый ничтожный, на подготовку пьесы давалось два-три дня. Группа актеров зачастую представляла собой нечто вроде кочующего цыганского табора, так как кормиться, оставаясь подолгу на одном месте, было невозможно и приходилось переезжать из города в город, с ярмарки на ярмарку. Если личность русского человека вообще (исключая дворянина) ничем в ту пору не была ограждена от полнейшего произвола со стороны администрации и привилегированного дворянского сословия, то личность актера находилась в этом отношении едва ли не на самой низкой ступени, потому что, во-первых, большая часть актеров набиралась, подобно Щепкину, из крепостных, а во-вторых, в глазах тогдашнего «общества» актер был чем-то вроде дрессированной обезьяны. Знаменитый актер П. М. Садовский вспоминает, как ему с труппой доводилось играть в балагане, освещенном двумя сальными огарками, перед единственным зрителем, трактирщиком, который за это монопольное право расплачивался ужином для труппы. Случалось, что исполняемая пьеса ему не нравилась, тогда он прерывал спектакль и заставлял увеселять себя хоровыми песнями. Неудивительно, если в подобной обстановке актеры проникались презрением не только к своему искусству, но и к себе, впадали в цинизм, деморализовались и губили свое дарование в вине и кутежах.

Щепкин не только морально уцелел в этой пагубной атмосфере, но и как актер, по мере возможности, развивал свое дарование, завоевывая постепенно популярность и в Курске и за его пределами.

В 1816 году, уже стяжав репутацию талантливого актера, Щепкин получил приглашение играть в труппе харьковского театра, которое принял и с радостью и с робостью за свои силы. Однако радость его была непродолжительна: харь-

ковский театр оказался гораздо ниже заочного представления о нем, составленного Щепкиным. Тем не менее переезд в Харьков сослужил ему большую службу: во-первых, он познакомился здесь с игрой выдающегося по таланту актера Угарова; главное же — в Харькове увидел игру Щепкина князь Репнин, «малороссийский генерал-губернатор», большой любитель и ценитель театра. Резиденцией князя Репнина была Полтава. Сразу распознав в Щепкине громадное актерское дарование, князь, пользуясь своим положением, без особого труда переманил в Полтаву не только Щепкина, но и всю труппу Штейна, в которой служил Щепкин.

Два года работы в Полтаве мало дали Щепкину в смысле развития и формирования его таланта, так как в это время уже не он учился у провинциальных артистов (за весьма редкими исключениями), но, напротив, сам служил для них образцом для подражания. Но период этот имел громадное значение для всей его судьбы по другой причине: Щепкин использовал высокое положение своего мецената и покровителя для освобождения от тяготевших на нем цепей крепостного.

Это была долгая, сложная и мучительная борьба, которую мы изложим здесь по необходимости вкратце. «Просвещенный» покровитель искусств князь Репнин выказал себя в ней столь же ловким дипломатом, сколько жадным и неразборчивым в средствах самодуром. Воздействуя на владелицу Щепкина всей силой своего положения, он маскировал в то же время свое стремление отнять одаренного актера у графини Волькенштейн самыми возвышенными соображениями. В письме к графине он указывал, что талант Щепкина «заслуживает ободрения, предоставления ему всех способов образоваться и усовершенствоваться оный, к чему совершенно преграждается возможность, если он не будет свободным». Графине не хотелось расстаться с такой выгодной собственностью, как Щепкин, но в то же время и отказать такому лицу, как генерал-губернатор, было невозможно. Поэтому

она, скрепя сердце, согласилась на выкуп Щепкина, зато уже и «цену» назначила для себя неубыточную: восемь тысяч рублей. Князь Репнин попробовал поторговаться: «Как семейство его, — писал он графине, — состоит из четырех мужского пола душ, в числе коих один старый отец, а другой малолетний сын его, то я полагал бы достаточным четыре или пять тысяч рублей». Графиня уперлась на своем: восемь тысяч и не меньше. Тогда в «награду таланта актера Щепкина для основания его участи» был устроен князем спектакль, а сверх того сделан особый сбор по подписке. Составилась сумма, близкая к требуемой: семь тысяч двести семь рублей. Но тут произошла заминка: во-первых, не все уплатили по подписному листу, во-вторых, часть уже собранных денег каким-то таинственным образом застряла и бесследно испарилась в недрах генерал-губернаторской канцелярии... Так или этак, но в нужный момент налицо оказалась лишь половина требуемой суммы.

Как же поступил «просвещенный» меценат князь Репнин?

Он добавил из личных средств недостающую сумму, но за полученные таким путем восемь тысяч рублей не выкупил Щепкина, а откупил его в свою собственность! То обстоятельство, что при этом «совершенно преграждалась возможность» «образовать и усовершенствовать» талант купленного актера, повидимому, князя не смущало, равно как и мало беспокоила мысль, что свое «приобретение» он сделал наполовину на чужие, собранные деньги...

Положение Щепкина не улучшилось, а ухудшилось. До этого он хоть и был крепостным, но находился вдалеке от своих владельцев. Теперь владелец был тут же, рядом. Чтобы избавиться от ярма, Щепкин просил князя отпустить его под залог векселей, с выплатой затраченных на него четырех тысяч в течение четырех лет. Но в этом ему было отказано под предлогом недостаточной кредитоспособности артиста.

Надобно сказать, что в это время князь был вообще недоволен Щепкиным, считая его виновником распада полтавской труппы Штейна. Есть основание думать, что Щепкин, стремясь быть подальше от своего нового владельца, действительно сыграл немалую роль в распаде труппы, которая влачила в этом небольшом городе жалкое в материальном отношении существование, получая лично от князя Репнина одни лишь платонические похвалы. Голодающая труппа отказывалась работать, князь не имел охоты на нее тратить, спектакли прекратились за отсутствием сборов, и артисты разъехались, а огорченный меценат вымещал свое раздражение на Щепкине.

Выручил последнего из безвыходного положения известный украинский историк Д. Н. Бантыш-Каменский, поручившийся князю за Щепкина, который, наконец, и был отпущен на свободу вместе со всем своим и отцовским семейством. Подобно былинному богатырю Илье Муромцу, который «сиднем сидел тридцать лет и три года», просидел сиднем, забитый в колодки крепостного раба, и этот богатырь русского искусства ровно тридцать три года,— без малого почти половину всей своей долгой жизни.

В продолжение своей работы на сценах провинциальных театров Щепкин подвергался воздействиям как отрицательного, так и положительного свойства.

Что касается первых, то в большинстве они так ясны и очевидны, что их достаточно просто перечислить: крепостная неволя, ничтожная актерская среда, низкопробный репертуар с почти ежедневной сменой пьес.

В репертуаре тогда все еще господствовал ложноклассицизм, чрезвычайно медленно уступавший свои позиции сентиментальной мещанской драме, а после и реалистической драматургии. В какой мере медленно совершался этот процесс, мы можем судить по пьесе «Горе от ума», представляющей собою гениальный опыт приспособления обветшавших ложно-

классических форм к вполне реалистическому жизненному содержанию. Что же касается пьес, где и форма и содержание были выдержаны в ложноклассическом духе, то самой характерной их чертой являлось вполне умышленное, так сказать, «заданное», нарушение пропорций жизненной правды и естественности. Надобно при этом заметить, что такое нарушение должно было в пьесе охватить всех ее персонажей. Но время, эпоха, ее социальный заказ диктовали при этом автору бесконечно характерную черту: ни «благородный» персонаж, ни «простой» человек не должны были походить на живых людей, отступление от правды диктовалось и в том и в другом случае. Но в то время как «благородный» должен был возвышаться над своим реальным прототипом и выведенный в пьесе князь, граф, а особенно король или император, должен был напоминать своими чертами полубога, как раз обратное диктовалось по отношению к «простому человеку»: он должен был быть ниже своего реального прототипа и напоминать животное, иногда дикое и свирепое, в лучшем случае ручное и дрессированное.

А в соответствии с этим актер, усиливая тенденцию драматурга, в одном случае становился на ходули и выделял все те штуки, о каких пишет в своих «Записках» Щепкин, а в другом, изображая мужика, особенно же играя роль «иностранца» или «иноверца» из простолюдинов, ломался, балаганил, кривлялся и лишь в лучшем случае, изображая какого-нибудь «верного слугу», в любую минуту готового сложить голову во славу своего барина, сюсюкал, «пейзанил», показывал сахарного мужичка, проявляющего собачью преданность.

Такова была школа сценической игры, проходить которую обречен был молодой Щепкин, в будущем основоположник реалистического искусства в русском театре.

Как видим, перечень вредных влияний на Щепкина в ту пору, когда складывалась его артистическая индивидуальность,

получился солидный. По счастью, не менее внушителен и список благоприятных для развития его дарования влияний, которые мы обнаруживаем во время пребывания его в провинции.

Прежде всего своя диалектика была даже в иных из перечисленных выше отрицательных факторов. С Щепкиным происходило нечто подобное тому, что мы наблюдаем, когда в одни и те же суровые условия попадают организмы слабый и крепкий: первый погибает, второй закаляется и становится еще крепче. Для того чтобы «выжить» в условиях крепостной неволи, Щепкину пришлось во многом «приспосабливаться» и бороться. Сотни талантов, быть может, не меньших, чем Щепкин, в аналогичной борьбе погибли навсегда для культуры и искусства. Он уцелел, вышел из борьбы победителем и даже с некоторыми немаловажными «приобретениями». Так, например, в своих «Записках» он рассказал о нескольких случаях, свидетельствующих об его поразительной, бесконечно изощренной наблюдательности, благодаря которой ему удавалось спасать таких же, как он, подневольных людей от верной и мучительной гибели, которую им готовили их владельцы. Он жил как бы в обстановке постоянной войны с врагом, бесконечно превосходившим его силою; и в этих условиях единственное, что могло дать надежду уцелеть, это было глубочайшее изучение врага, знание всех малейших оттенков его натуры, чтобы в нужный момент славировать, уклониться от удара. Вот почему с младенческих лет Щепкину пришлось изучать, вникать, наблюдать там, где всякий другой прошел бы мимо, не обратив внимания. И эта виртуозная наблюдательность сослужила ему громадную службу, когда в качестве актера ему довелось создавать самые разнообразные человеческие характеры. Громадный запас впечатлений «от дворца до лакейской» был им воспринят не «со стороны», не на лету, а все это было им прочувствовано, грубо выражаясь, на собственной шкуре пережито. Именно отсюда берут свое начало, по признанию самого Щепкина, та жиз-

ненность и правдивость, какие отличали его игру, кого бы он ни изображал на сцене.

Тяжкие условия детства и молодости предопределили для Щепкина путь актера-демократа, борца против ложноклассической традиции в русском театре. По своему рождению, по судьбе, по вынесенным впечатлениям, по всему пережитому и выстраданному он был тем самым «простым человеком», которого ложноклассический театр показывал зрителям в изуродованном дворянской классовой тенденцией виде, а «благородный персонаж», которого та же литература и тот же театр показывали «героем» и полубогом, был для Щепкина тем, кем он был в действительности, — хищником, то неприкрытым и грубым, то лощеным. И, в меру возможности, играя того и другого, Щепкин показывал их подлинное лицо их истинную сущность, а это уже само по себе диктовало стилю и характеру его игры требование естественности.

В этом отношении как раз благоприятным обстоятельством для Щепкина являлось то, что работа его долго протекала в провинции. Дело в том, что фундамент ложноклассического театра был здесь гораздо слабее, чем в столицах, и потому его легче было поколебать. Этот театр, созданный верхушечным слоем дворянства, свое высшее оформление получил, естественно, там, где находилось средоточие власти этого дворянства, — в Петербурге и в Москве. Там для своего обслуживания он вобрал в себя (собрав со всей России) все, что было в стране талантливого, предоставив провинции строить бледные с себя копии. Это — с одной стороны. С другой, враждебные этому театру новые силы — нарождающаяся буржуазия, городское мещанство, разночинцы — были в провинции относительно сильнее, чем в столицах, потому что крупное поместное дворянство, по мере экономического разорения и вытеснения, покидало провинции и переселялось в столицы непосредственно под сень самодержавной власти, оберегая вместе с последней свое политическое господство над

страной. Таким образом, провинция обнажалась от того влиятельного слоя театралных зрителей, который прежде диктовал ей свои вкусы, в столицах же совершенно искусственно собирались эти дворянские «сливки», задерживая развитие театра путем навязывания ему отживших форм.

Отсюда становится понятным то интереснейшее явление, на которое до сих пор в нашей литературе недостаточно обращено внимание: обновление русского театра, нарушение канонов ложноклассического стиля игры шло от провинции к столицам, а не обратно. Не случайно то обстоятельство, что в провинции мы раньше, нежели в столицах, обнаруживаем свежие ростки реалистической актерской игры,—в деятельности актеров Павлова, Угарова, Соленика и других. Не случайно, что в провинции сложился как актер и великий реформатор театра учитель реалистической школы и могильщик ложноклассического стиля игры—Щепкин. В зрительный зал провинциального театра вступал сначала робко, потом все смелее и смелее новый гегемон экономической и общественной жизни страны—буржуа, все более властно заявляя свои требования, и театр отвечал ему явлениями Павлова, Угарова, наконец, Щепкина.

Чрезвычайно важное указание по данному вопросу мы находим в неизданных воспоминаниях брата последнего, А. С. Щепкина, описывающего второе выступление М. С. Щепкина на московской сцене: «Помнится, играны были «Марфа и Угар» и писарь Грицько в пиесе «Казак-стихотворец»; в этой последней пиесе, в роли Грицько г. Щепкин показался публике не совсем удовлетворителен, потому что при театре тогда существовало убеждение, что малороссиянина непременно должно играть, как обезьяну, и коверкаться и гримасничать сколько возможно более».

Провинция создала славу молодому Щепкину как раз за то, между прочим, за что осуждала его столица: за простое и жизненно-правдивое изображение простого и притом

нерусской национальности человека. Факт глубоко знаменательный! Он красноречиво свидетельствует, в каком плену фальшивых, антидемократических и узко-националистических условностей находились в ту пору столичный театр и его зритель; в какой мере прогрессивнее и ближе к правде был театр провинциальный; наконец, тот же факт позволяет по достоинству оценить и те благоприятные обстоятельства, которые влияли на Щепкина в провинции.

Продолжая их перечень, укажем также и на ту положительную сторону, которою обернулась для Щепкина необходимость почти ежедневно играть в новой пьесе (или новую роль в прежней). И в этой необходимости заключалась для Щепкина своя диалектика. Говоря вообще, частая смена пьес была одним из главных зол провинциального театра. Не давая актеру возможности мало-мальски сосредоточиться на роли, изучить представляемое лицо, разработать его оттенки, наконец, даже просто выучить свою роль, она быстро приучала его к небрежности и неряшливости, к тому, что мы теперь называем «хаатурничаньем», к цинизму и бравированию своим невежеством. Играя на-авось, «под суфлера», с неизбежной «отсебятиной», актер мало-помалу приучался самую небрежность возводить в степень закона искусства, провозглашая, что трудиться над ролью — значит, убивать в себе вдохновение, наносить ущерб тому, что актеры называют «натуром».

• Однако по отношению к Щепкину дело обстояло иначе. Свою долю вреда частая смена пьес ему, разумеется, принесла; разбираться в хорошем и худом репертуаре, доводить шлифовкой свою роль до полного совершенства, наконец, развить в полной мере свои природные данные, то, что актеры называют свои «средства», избавиться от ряда недостатков — все это он научился делать только в Москве. Но с детских лет ему присущая самозабвенная любовь к театру, какое-то священное уважение к нему уберегли его от легковес-

ного отношения к своему актерскому труду и не позволили пойти по линии наименьшего сопротивления, по пути «халтурничанья». В меру возможности он работал над каждой ролью, и, например,—неслыханная по тому времени вещь даже в столичных театрах!—каждую свою роль выучивал твердо наизусть.

С другой стороны, эта же самая частая смена пьес много способствовала развитию поразительной гибкости и многообразия таланта Щепкина, его способности быстро перевоплощаться в новое представляемое лицо.

Чтобы закончить перечисление благоприятных влияний, испытанных Щепкиным в провинции, напомним о встрече его с актером-любителем князем Мещерским. Впечатление от игры последнего, произведенное на юного Щепкина, было громадное, ошеломляющее, в известной степени определившее всю его актерскую судьбу.

Таков отзыв об этом впечатлении самого Щепкина, отличительной чертой которого было необыкновенно ясное и трезвое самосознание: «Все, что я приобрел впоследствии, все, что из меня вышло, всем этим я обязан ему: потому что он первый посеял во мне верное понятие об искусстве и показал мне, что искусство настолько высоко, насколько близко к природе».

С полной верой принимая это важное признание Щепкина, мы должны тем не менее сказать, что едва ли последствия этой встречи с князем Мещерским были бы столь серьезны и плодотворны для Щепкина, если бы к тому времени в нем не поселилась неудовлетворенность, хотя бы и самая смутная, неопределенная и безотчетная, характером и стилем ложноклассической игры актеров-современников, если бы всей суммой пережитого им до этой минуты он не был уже подготовлен к радостному, живому, горячему и творческому отклику на свежую новизну здорового реализма, впервые открывшегося перед ним в простоте и естественности актерской игры

II. ЩЕПКИН В МОСКВЕ

Год спустя после освобождения от крепостной зависимости состоялся переход Щепкина на московскую сцену. Произошло это при следующих обстоятельствах.

Управляющий в то время московскими театрами Ф. Ф. Кокошкин, озабоченный пополнением состава свежими сценическими силами, отправил одного из своих подчиненных, Головина, в провинцию на поиски талантов. В Ромнах, на ярмарке, где в это время выступал Щепкин, его увидел Головин в пьесе «Опыт искусства» и, придя в восторг от его игры, немедленно предложил ему перейти на сцену императорского театра в Москву, а Кокошкину по возвращении сделал соответствующий доклад. Для проверки впечатления Головина Кокошкин отправил своего помощника Загоскина в Тулу, куда тем временем успел переехать Щепкин. Доклад Загоскина был краток и выразителен: «Актер — чудо-юдо, но просит много денег, ссылаясь на свое большое семейство», на что Кокошкин отвечает Загоскину: «Ничего не жалея, все, что требует, давай, только не упусти сокола и вези скорее ко мне». 20 сентября 1822 года Щепкин дебютировал в Москве; поставлена была пятиактная комедия Загоскина «Господин Богатонов, или Провинциал в столице», и водевиль «Лакейская война». Спектакль сошел блестяще, и договор с Щепкиным был заключен, но так как он был уже связан контрактом с Тулой, то служба его в Москве началась лишь в следующем году, а именно 6 марта 1823 года. 2 июля 1825 года состоялся первый дебют Щепкина во второй столице: на сцене Большого театра в Петербурге были сыграны «Чванство Транжирина» (Щепкин — Транжирин) и водевиль «Секретарь и повар» (Щепкин исполнил роль Суфле).

Отныне и до конца жизнь Щепкина может быть охарактеризована как необычайно богатая творческим содержанием и необычайно скудная такими внешними событиями, ко-

которые кидались бы в глаза и представляли большой интерес для его биографии.

Вот канва этой биографии. 9 сентября 1831 года, за шесть месяцев до истечения срока контракта, Щепкин запросил дирекцию, желательна ли его дальнейшая служба. На это последовала резолюция директора театра Загоскина: «На сто лет, только бы прожил», официально же Щепкин был извещен, что «правлящий должность директора, камергер Михаил Николаевич Загоскин, в уважение его отличного таланта, приятною поставляет иметь его на службе при императорских театрах на тех же самых кондициях, какие были прежде».

9 августа 1832 года Щепкин был определен учителем декламации в Московской театральной школе. 17 марта 1843 года Щепкину была назначена пенсия. В то же время был опять возобновлен контракт с Щепкиным, еще несколько раз до конца жизни артиста возобновлявшийся с различными изменениями условий. Надо лишь отметить, что с 1847 по 1858 год директором театров был, печальной памяти, А. М. Геденов, который не упускал случая чинить неприятности Щепкину, как и всем другим работникам сценического искусства. В 1853 году Щепкин совершил путешествие за границу, куда он возил лечить своего сына и где смотрел театры, а также виделся с Герценом. Перед этой поездкой Щепкина чествовала торжественным обедом литературная и театральная Москва. В 1855 году, 26 ноября, по случаю 50-летия со дня выступления Щепкина в «Зое», — что было приравнено к полувековой сценической деятельности, — был торжественно отпразднован щепкинский юбилей, в котором принял участие весь цвет литературы и театров обеих столиц. 11 августа 1863 года Щепкин скончался в Ялте. 20 сентября того же года, в день памятного дебюта Щепкина в «Богатонове», тело его было привезено в Москву и 22 сентября предано земле на Пятницком кладбище, близ

памятника Грановскому, рядом с могилой которого Щепкин завещал его похоронить. Над могилой Щепкина возвышается камень с надписью: «Михаилу Семеновичу Щепкину. Артисту и человеку». 9 мая 1895 года в городе Судже Щепкину был открыт памятник.

Таким образом, московский период деятельности Щепкина продолжался ровно сорок лет. Необходимо при этом указать, что Щепкин довольно часто выезжал на гастрольные спектакли в Петербург и в провинцию, по большей части в Казань, Тулу, Орел, Ярославль и Нижний-Новгород. В 1846 году он совершил вместе с Белинским поездку на юг России.

Для того чтобы перейти к изложению творческого содержания этого сорокалетнего периода и к общей характеристике Щепкина, мы дадим сейчас также канву его театральной работы.

Щепкин явился в Москву уже знаменитым артистом, слава которого успела перешагнуть рамки провинциальной популярности. Вследствие этого работа Щепкина не имела в Москве так называемого подготовительного периода, но пошла сразу полным ходом. Щепкину приходилось выступать по три-пять раз в неделю, притом в самых разнообразных пьесах и ролях, что, при свойстве артиста тщательнейшим образом разрабатывать роли, обуславливало затрату гигантского труда. Достаточно сказать, что с 1823 по 1825 год Щепкин сыграл 68 ролей, выступив в 193 спектаклях.

Перечислить все пьесы, в которых выступал Щепкин, не представляется возможным, да к тому же большинство их ничего не говорит современнику. Чаще всего это были пьесы-однодневники. Тут был ряд водевилей популярного в то время водевилиста А. И. Писарева, мелкие пьески Скриба, разные переводные комедии, бесчисленное множество пьес князя Шаховского, Загоскина, кое-что Кокошкина. Из более серьезных, вернее, более литературных вещей надо отметить

«Ябеду» Капниста и «Модную лавку» Крылова. Серьезными явлениями тогдашнего щепкинского театрального репертуара были пьесы Мольера, но давались они первое время не просто в переводах, а в переработках «к русскому быту», другими словами, искаленном виде. Позднее появились уже и настоящие переводы Мольера. Всего Щепкину довелось выступить в свой московский период в семи пьесах Мольера; это были: «Мизантроп», «Мещанин во дворянстве», «Скапиновы обманы», «Школа жен», «Скупой», «Тартюф» и «Сганарель» (в переводе Гоголя, специально сделанном для Щепкина). Далее, необходимо упомянуть «Урок старикам» Делавиня, «Школу злословия» Шеридана, «Женитьбу Фигаро» Бомарше и Шиллера «Коварство и любовь». Из шекспировских пьес Щепкину пришлось играть в «Гамлете», где он с блеском исполнял роль Полония, и менее удачно в «Шейлоке» и в «Ромео и Джульетте» (Щепкин в последней пьесе играл Капулетти). Бывали случаи, когда пьесы, сами по себе незначительные, десятками лет удерживались на сцене благодаря участию в них Щепкина; таков был, между прочим, уже упоминавшийся нами «Матрос».

Поворотными моментами в развитии щепкинского сценического искусства явились постановки двух классических русских комедий: «Горя от ума» — в 1831 году и «Ревизора» — 25 мая 1836 года. В первой из этих пьес Щепкин исполнял роль Фамусова, которую он изучал, пользуясь непосредственно указаниями Грибоедова. В «Ревизоре» Гоголя он играл городничего, и изучение этой роли равным образом проходило в сотрудничестве, а отчасти в соревновании с автором. Именно это имел в виду Белинский, когда в 1838 году писал: «Щепкин всегда играл городничего прекрасно, но теперь становится хозяином в этой роли и играет ее все с большей и большей свободой! Он не помощник автора, но соперник в создании роли». В 1843 году была впервые поставлена «Женитьба» Гоголя с Щепкиным в роли Подколесина.

Однако в дальнейшем он взял на себя в этой пьесе роль Кочкарева, которую исполнял изумительно. В «Игроках» и «Тягбе» Гоголя Щепкин также выступал. В 1851 году он играл в «Провинциалке» Тургенева. Из пьес, в которых участвовал Щепкин в последние годы своей деятельности, необходимо указать «Свадьбу Кречинского» Сухово-Кобылина и потехинскую «Мишуру». Из всего обширного репертуара Островского (к которому Щепкин вообще не питал особенной симпатии) он играл лишь в двух пьесах: в «Бедность не порок» и в «Свои люди — сочтемся». Последней новой ролью Щепкина, его лебединой песней, которую он «спел», несмотря на свои 74 года, с поразительной силой, была роль Кузовкина в тургеневском «Нахлебнике».

Итак, весной 1823 года началась работа Щепкина на московской сцене. О первых его театральных московских впечатлениях имеющиеся сведения более чем скудны. Еще будучи провинциальным актером, он имел случай видеть московский театр и был им далеко не очарован. В самом деле: все три главных элемента, дающих в сумме театральное зрелище, были не на такой высоте, чтобы удивить Щепкина. Мы имеем в виду, во-первых, репертуар, во-вторых — состав труппы, в-третьих — стиль игры.

Репертуар, особенно в первый период московской деятельности Щепкина, был далеко не первосортный: водевили Писарева, талантливые, но бессодержательные; исполненные шумливого пустозвонства пьесы Шаховского; высокопарные творения ложноклассиков; наконец, исковерканный Мольер.

Далее — состав труппы. Вступление Щепкина совпало с моментом, когда «старые богатыри» — Шушперин, Плавильщиков, Сандунов, Воробьева — уже сошли со сцены, а новые могучие таланты — Самарин, Живокини, Шумский, Садовский — либо еще не появились, либо только всходили над театральным горизонтом, как Мочалов. Было несколько талантливых артистических сил, но не такого масштаба, чтобы

их можно было поставить рядом с Щепкиным, а главное, — чтобы при их помощи создавать не просто приличные спектакли, а театральные события, поучительные для Щепкина.

Что же касается стиля игры, то по этому поводу было уже указано, что это был стиль, осужденный Щепкиным еще в провинции. Правда, требования простоты и жизненности в игре просачивались на московскую сцену уже и до Щепкина и одновременно с ним через другие артистические силы, но в основном здесь все еще играли по-старинке, и учиться, получать новое Щепкину здесь не у кого было.

И тем не менее переезд его в Москву имел для артиста огромное, быть может, решающее значение.

Дело в том, что при всем своем громадном уме, обширном жизненном опыте, исключительной наблюдательности и поразительной актерской интуиции, Щепкин все-таки явился в Москву почти без всякого образования. В Москве он его получил и притом в форме, наиболее пригодной для его 35-летнего возраста и положения человека, вынужденного затрачивать все силы на свое прямое дело, — а именно: в форме живого и тесного общения с самыми просвещенными и выдающимися людьми своего времени.

Чтобы характер отношений Щепкина с передовыми людьми его времени выступил перед вами в неискаженном виде, необходимо представить их в той исторической перспективе, как они складывались, напомнить о том, что эту перспективу исторически характеризует. Для этого достаточно напомнить о важнейшем факте: творчество Щепкина достигло своего апогея в 40-х годах. Его наиболее прочные, глубокие и самые характерные связи были с людьми, имена которых дали наименование этой эпохе. Наконец, связанная с его именем реформа сценического мастерства точно так же характеризуется чертой, определяющей собою главнейшее течение в искусстве 40-х годов.

40-е годы в искусстве — это то, что в ту пору называлось

«натуральная школа» и что сейчас мы называем художественным реализмом, это Гоголь с его последователями в художественной литературе и Белинский в ее теоретическом обосновании и публицистической пропаганде. Что Щепкин на сцене делал ту самую работу и выполнял ту самую историческую миссию, какую Гоголь и Белинский выполняли в своих областях, никем сейчас не оспаривается. Ее кратко можно характеризовать как утверждение жизненной правды в сценическом искусстве, что тотчас после смерти Щепкина сжато формулировал Герцен: «Он создал правду на русской сцене, он первый стал нетеатрален на театре».

Излишне доказывать, что одни и те же исторические силы обусловили «создание правды» и в литературе, и в театре, и в других областях искусства. И ясно также, что между этими различными областями было известное взаимодействие, взаимовлияние. Но менее известно другое явление, имеющее точно так же прямое отношение к нашей теме, — взаимовлияние в сфере чисто личных отношений виднейших представителей различных ответвлений «натуральной школы». Оно трудно проследимо, но оно столь же несомненно, как и характерно для эпохи 40-х годов с ее жесточайшей цензурой, последствием которой было то, что живая ищущая мысль, не находя нормального исхода и воплощения в печатном слове, бурлила, оформлялась и чеканилась в тесных кружках, приобретающих значение и философских школ, и академий искусства, и политических клубов.

Мы знаем, что членом этих кружков Щепкин формально не состоял. Известно далее, что близкие отношения связывали его одновременно с главарями противоположных, жестоко воевавших между собою кружков. Он был дружен с Герценом, Белинским, Грановским — с одной стороны, с Аксаковым — с другой, с Гоголем, не входившим ни в тот, ни в другой кружок, и т. д. Таким образом, с первого взгляда представляется, что, пожалуй, прав был реакционный «Моск-

витянин», характеризуя в 1853 году отношения Щепкина с современниками его, как чисто эстетские и как благодушное приятельствование.

Но вот такой умеренный по своему направлению исследователь, как Н. С. Тихонравов, касаясь вопроса о том, что вносил от себя Щепкин в духовную сокровищницу Гоголя, специально выделяет на важнейшее место столь «невинный» предмет, как устные рассказы актера в кругу приятелей. Послушайте, однако, как он об этих рассказах отзывался: «Не веселы были эти рассказы: они рисовали все — пошлость, темную, трагическую сторону жизни. Перед слушателями вставляли картины откровенного самодурства, наглого плутовства, мелкого, часто бессознательного тиранства, деспотизма и насилия господ, гордого и величавого страдания крепостных... Гоголь уже в эту пору прислушивался внимательно к рассказам о русском быте и собирал «Материалы для духовной статистики России». Щепкин был находкою для писателя, ступившего на реальную почву и глубоко сознавшего необходимость самого широкого ведения русской жизни и русских людей. Щепкин, может быть, сам того не замечая, обнажил своими рассказами корни, из которых выросли «неудовлетворенье и тоска» гоголевского поколения».

Важность этих указаний Тихонравова трудно преувеличить, но особенно значительны для нашей темы последние строки. Дело в том, что это как раз невидная, незаметная сторона в области отношений Щепкина с передовыми людьми его эпохи, а между тем здесь подчеркнута огромная роль Щепкина-человека, Щепкина-домашнего собеседника в «приучении» к реальным наблюдениям жизни тех людей, которые впоследствии и прославились как основоположники реального изображения русской жизни в нашей литературе.

Биографам Гоголя хорошо известно, что рядом сценок, эпизодов, драгоценнейших черт своих героев автор «Мертвых душ» был в прямом смысле слова обязан устным рассказам

Щепкина (Петр Петрович Петух, эпизод с появлением кошки в «Старосветских помещиках», кое-что в генерале Бетрищеве из «Мертвых душ» и др.). Точно то же надобно сказать и относительно отдельных мест в пьесах Сухово-Кобылина. У Герцена целый рассказ «Сорока-воровка» построен на материале рассказов Щепкина. Два очерка графа Сологуба, автора «Тарантаса», равным образом представляют собой письменное изложение щепкинских рассказов («Собачка» и «Воспитанница»).

И все же, как ни ценна сама по себе эта «учитываемая» жатва посеянного Щепкиным, она не идет ни в какое сравнение с тем неучтенным и едва ли доступным учету, что было им сделано в смысле обнажения корней, «из которых выросли неудовлетворенность и тоска гоголевского поколения». Надо вспомнить, что у сильнейших представителей «натуральной школы» в первоначальный период ее складывания, ощущалась определенная дисгармония между суммой и характером их наблюдений — с одной стороны, и творческими замыслами, для которых эти наблюдения должны были служить материалом, — с другой. Когда покойный С. А. Венгеров выступил в свое время с сенсационным заявлением, что Гоголя не следует считать реалистом, потому что для наблюдений над реальной русской жизнью у него не было возможностей, то это, разумеется, было крайне наивно, хотя факт чрезвычайно кратковременного общения Гоголя с русской провинцией, жизнь которой он воспроизводил в своих величайших произведениях, был сам по себе бесспорен. Однако, совершенно правильно возражая Венгерову, что данные для решения вопроса о принадлежности того или иного произведения к разряду реалистических заключаются в рамках самого произведения, тогдашнее литературоведение не воспользовалось фактическим материалом в наблюдениях Венгерова как поводом для постановки вопросов, освещающих процесс работы Гоголя. Так, например, в совершенно новом свете выступали теперь эти известные, во все стороны адресуемые, неотступные, жадные

требования и просьбы Гоголя присылать ему материалы наблюдений, песни, словечки, «анекдоты» (их посылал ему и Щепкин) и т. д., равно как и склонность Гоголя к использованию извне получаемых сюжетов. Когда сопоставляешь эту ненасытность к фактам, конкретностям, реалиям, с одной стороны, и обусловленную внешними причинами скудость собственных реальных наблюдений — с другой, то приходишь к выводу, в истинности которого трудно сомневаться, что между тем и другим — связь причины с ее следствием, что именно потому-то Гоголь и проявлял столь страстную потребность в результатах чужих наблюдений, что как великий реалист чувствовал недостаточность собственных.

Ясно, каким кладом был для него Щепкин с его опромной, изощренной постоянным упражнением наблюдательностью, с его биографией, доставившей ему возможность знать русскую жизнь «от дворца до лакейской», как сам он определял диапазон своих наблюдений. Но ведь ту же роль выполнял он в отношении не одного Гоголя. Для тех писателей из дворян, которые стояли на демократической политической платформе, но, в силу своего происхождения и воспитания, были разобщены с демократическими низами русской жизни, Щепкин был живым аккумулятором самых разносторонних сведений о народе, проникнутых живой любовью к нему, живой болью за его страдания. И, конечно, не случайно одно из немногих художественных произведений Герцена и притом самое сильное из них создано, как выше указано, на основе устного рассказа Щепкина.

Нам, отделенным целым столетием от живой щепкинской традиции, чрезвычайно трудно, быть может, даже невозможно по достоинству оценить «учительное», в прямом смысле слова, значение и такого элемента щепкинских рассказов, как их юмор. Но современники приписывали последнему громаднейшее значение. Так, например, Погодин, прямо заявляя, что «Гоголь обязан был многим Щепкину», особенно подчерки-

вает затем роль щепкинского юмора: «Тот смех, который Щепкин возбуждал в Гоголе, еще молодом человеке, выступавшем на поприще, не был ли задатком того смеха, каким после наделил нас Гоголь с таким избытком?»

Здесь речь идет, разумеется, не о комических эпизодах, перенесенных Гоголем из рассказов Щепкина в свои произведения, а об «угле зрения» на жизнь. Щепкин совлекал в своих рассказах обманчивую, призрачную оболочку значительности с ряда явлений русской жизни, делая их смешными в глазах слушателей, и это была своего рода школа юмора, школа познания дореформенной России сквозь призму обличительного смеха, т. е. то самое «обнажение корней», о котором говорит Тихонравов в своем замечательном определении значения Щепкина для Гоголя.

Михаил Семенович был, разумеется, бесконечно далек от мыслей, что вне сцены, в своих бесчисленных непринужденных беседах с друзьями, вызывающих веселый неумолкаемый хохот, он каким-то образом выполняет роль «учителя» в отношении таких людей, как Гоголь, Герцен и другие. Во всяком случае сам он решительным образом ставил себя, открыто об этом заявляя, в положение их усердного ученика. Отвечая на тосты и приветствия, которыми друзья Щепкина напутствовали его при отъезде за границу, Михаил Семенович, между прочим, сказал: «Я не сидел на скамьях студентов, но с гордостью скажу, что я много обязан Московскому университету в лице его преподавателей; одни научили меня мыслить, другие — глубоко понимать искусство. Беседы об искусстве собственно для меня не умолкали, и я с глубочайшим вниманием вслушивался в них». А относительно Гоголя (и Грибоедова) он в той же речи отметил: «Им я обязан более всех; они меня силою своего могучего таланта, так сказать, поставили на видную ступень в искусстве».

В этих словах не было ни умышленного преувеличения из условной учтивости, обычной в торжественной речи, ни субъ-

ективного заблуждения: дело обстояло именно так, как об этом поведал Щепкин. Его биографы знают, что он с юных лет до глубокой старости не упускал случая учиться у кого только мог. Это стремление его было обусловлено как сознанием безграничной обширности искусства, на поприще которого он подвизался, так и ясным представлением о тех скудных образовательных ресурсах, с какими выпустила его на это поприще трудная судьба. Гоголь совершенно точно указывал, что Щепкин «по страсти и любви к искусству готов себя считать вечным учеником и выслушивать даже и не весьма умные по виду советы даже и от простых людей». С каким же вниманием, попав из глухой провинции прямо в общество Герцена, Белинского, Гоголя, Аксаковых, должен был он прислушиваться к их беседам и страстным спорам, в которых очень видное место занимали вопросы искусства! Для самоучки Щепкина это была такая плодотворная и всесторонняя образовательная школа, о какой только можно было мечтать, потому что его учителями были первоклассные умы и могучие таланты, с которыми он общался, притом как раз в ту эпоху, когда многие из них охвачены были жадой критического пересмотра своих прошлых верований, когда они, в жестоких схватках и турнирах, воздвигали новое здание своего мирозерцания.

Говорить о конкретных следах, оставленных влиянием «учителей» Щепкина на его творчестве и на его воззрениях в области сценического искусства, очень трудно, разумеется. Если даже в литературе к вопросам влияния на писателя мы теперь подходим в высшей степени осторожно, то во сколько же раз осторожнее приходится быть, когда речь идет об актере, самое мастерство которого доходит до нас в зыбкой форме предания, пересказа впечатлений и т. д.

И все же не вполне безнадежна попытка, хотя бы и с тысячью оговорок, отметить возможные следы влияния на Щепкина со стороны его знаменитых друзей.

Грановский... Известно, что Щепкин, вообще обладавший даром сердечной любви и привязанности к людям, с исключительной любовью и нежностью относился к Грановскому. В неизданном письме жены Щепкина к сыну она пишет с глубокой скорби, охватившей Михаила Семеновича при известии о кончине знаменитого историка. Незадолго до смерти Михаил Семенович, как уже указано, завещал похоронить его поблизости от могилы Грановского на Пятницком кладбище, что и было исполнено.

Но можно ли при всем том говорить о следах влияния Грановского на Щепкина?

Мы полагаем, что можно: Грановский служил для великого артиста живым и конкретным воплощением гармонии, светлого равновесия, того, что согласно отмечают все мемуаристы как характернейшую черту духовного облика Грановского и к достижению чего в своем сценическом творчестве упорно стремился Щепкин. Он обладал необыкновенно горячим темпераментом, с которым не всегда ему удавалось совладать. Ему был присущ заразительный юмор, проявлявшийся иногда и там, где он не раскрывал, а затушевывал образ. Недаром ведь для многих Щепкин был актером-комиком по преимуществу, несмотря на то, что количественно роли комические в его репертуаре отнюдь не преобладали. И поучительно, что в Москве этот недостаток равновесия мало-помалу исчезал. Те самые критики, которые отмечали некоторую дисгармонию в игре Щепкина в первые годы его московской деятельности, впоследствии признали, что Михаил Семенович ее преодолел. Например, взыскательный Аксаков писал, что «привычка смеяться от комизма игры Щепкина исчезала». Белинский и Гоголь точно так же отмечали, как это ниже будет указано, что с течением лет Щепкин обрел недостававшую его игре гармонию равновесия. Было бы, разумеется, опрометчиво приписывать это обретение равновесия всецело влиянию Грановского, но когда Щепкин говорил о

своем «учении» у профессоров Московского университета, то можно ли сомневаться, что Грановский занимал в этом отношении не последнее место в их ряду и что именно его влияние должно было особенно гармонизировать дарование великого артиста.

Роли Гоголя в творческом росте Щепкина мы здесь коснемся лишь беглым образом, потому что, с одной стороны, она слишком очевидна, а с другой — столь важна, что требовала бы для полного раскрытия специальной исследовательской работы. Отметим лишь, что влияние Гоголя на Щепкина шло и по линии личных их отношений и по линии удовлетворения острой потребности актера в драматургическом материале, достойном его громадного дарования. Сохранившаяся переписка Щепкина и Гоголя чрезвычайно ценна, между прочим, и в качестве отражения того взаимного «просветительства» по части вопросов искусства, которое характеризует отношения этих артистических натур. Что касается того значения, какое имели для Щепкина пьесы Гоголя, то об этом можно сказать без всякого преувеличения, что в работе над ними Щепкин вырос как актер на целую голову. Низкопробный драматургический материал был бичом всей его артистической жизни. Уже в конце 40-х годов он жаловался в письме к сыну: «Репертуар преотвратительный — не над чем отдохнуть душою, а вследствие этого память тупеет, воображение стынет, звуков недостает, язык не ворочается. Все это вместе разрушает меня, уничтожает меня, и не видишь ни в чем отрады, не видишь ни одной роли, над чем бы можно было отдохнуть душе, что расшевелило бы мою старость. Да, я могу еще вострепнуться; но надо, чтобы это была роль и роль». Вот эту-то «роль и роль» он и получал от Гоголя, оттачивая на ней свое великое мастерство, доводя воплощение замыслов Гоголя до такой высоты совершенства, что сам автор «Ревизора» и «Женитьбы» бывал им удовлетворен. А ведь удовлетворить Гоголя игрою в его пьесах было почти невоз-

можно. Излишне, таким образом, доказывать, какое значение для сохранения гибкости дарования Щепкина и для развития его имел Гоголь.

Какую роль в духовном развитии Щепкина имели отношения его с Герценом?

В нашей теме этот вопрос наиболее сложный. Для того, чтобы на него ответить, необходимо напомнить в двух словах кое-какие факты из биографии Щепкина. Его характер складывался в условиях крепостного рабства. Но при этом совершенно необходимо учесть, что его отец был из того верхушечного слоя крепостных, поднявшихся над своими собратьями, откуда помещики брали своих вернейших и преданнейших слуг — приказчиков, бурмистров, управителей, нередко ненавидимых рядовым крепостным крестьянством. Тот яд рабства, который Щепкин получал в эти первые тридцать три года своей жизни, был ядом самого злого свойства, можно сказать — наихудшим из ядов, ибо с младенческих дней он был не просто рабом, а рабом ласкаемым. С первых дней своего существования и до выхода на волю он не был окружен средой цельной, органической, но всегда двойственной, промежуточной. Младенцем он проводит время пополам между домом отца и графскими покоями. Потом он вместе с детьми свободных состояний обучается в школе, но и для товарищей по учению и для учителей он «существо «низкого» происхождения, он лишен права, например, обучаться французскому языку. Потом он актер, но в то же время и официант в господских домах. Его ласкают, им восхищаются, но в нужную минуту эти ласкатели не задумываются потянуть его за ту золотую цепочку, на которой его постоянно держат.

Человек промежуточного происхождения и двойственного воспитания — вот кто был Щепкин. А такое положение чрезвычайно неблагоприятно для выработки резких, протестующих, твердых черт характера, оно отравляет самую их натуру, делает ее «мягкой», приспособляющейся, боязливой. Щепкин.

необычайно умный, тонко наблюдательный и гениально одаренный человек, лучше кого бы то ни было знал, что такое рабство, и он достаточно вынес от него тяжкого и унижительного, чтобы возненавидеть на всю жизнь. Лично он прошел длинный путь драматической борьбы за свое освобождение. Но вот вопрос — какой борьбы? Какими средствами?

Отнюдь не боевыми. Они не походили нимало на страстные приемы борьбы с рабством другого великого крепостного, земляка его Тараса Шевченко, к которому крепостной строй повернулся своею ожесточающей, но и закаляющей стороной. А Щепкин шел путями компромисса, лавирования, подавления в себе естественных порывов негодующего протеста и т. д.

И это наложило известный отпечаток на его характер. Что важнее всего — это отравило самое отношение Щепкина к рабству, что особенно рельефно сказалось в истории его отношений именно с Герценом. Покуда жив был Белинский и покуда Герцен оставался в России, их резкий и твердый демократизм служил для Щепкина устойчивым фундаментом. Он примыкал к их кругу, он не выделялся в нем, т. е. не отклонялся вправо от его общего курса. Он никогда не давал повода ни Герцену, ни еще более нетерпимому в этом отношении Белинскому ставить даже вопрос, в какой мере Щепкин «ихний». Единственное дошедшее до нас письмо Белинского к Щепкину, относящееся к 1842 году, написано в том характерном тоне, в каком критик-трибун обращался только к своим единомышленникам, и оно насквозь проникнуто боевым политическим настроением.

Но годы идут, Белинский сгорел, Герцен эмигрировал, за ним последовал Огарев. Отдельные члены прежнего боевого кружка, оставшиеся в России, слиняли, — иные до бледнорозового либерализма, другие до белизны, некоторые почти до черноты. Атмосфера удушливой реакции не минует и Щепкина. В 1854 году он не без гордости становится членом

Английского клуба, этой цитадели реакционной аристократии. Он совершает паломничество из Москвы в Петербург специально ради того, чтобы проститься с телом Николая I,— факты совершенно немыслимые, будь подле него Герцен или Белинский. Наконец, он принимает на себя прямую миссию московской реакции—уговорить Герцена бросить печатный станок, раскаяться в своих заблуждениях и этой ценой вернуть себе утраченное отечество!

Герцен оставил подробное описание этого драматического эпизода в истории его отношений с Щепкиным. В 1853 году произошло это свидание бывших друзей, из которых теперь только один понимал другого—Герцен Щепкина. «Весть о том, что мы печатаем по-русски в Лондоне, испугала,—писал впоследствии в другой связи Герцен.—Свободное русское слово сконфузило и обдало ужасом не только дальних, но и близких людей; оно было слишком резко для уха, привыкшего к шопоту и молчанию; бесцензурная речь производила боль, казалась неосторожностью, чуть не доносом... Многие советовали остановиться и ничего не печатать; один близкий человек за этим приезжал в Лондон».

Изумляет та верность предчувствия, какую обнаружил Герцен накануне свидания с этим «близким человеком», т. е. Щепкиным. Он был и бесконечно счастлив, потому что горячо его любил и высоко ценил, и полон тревоги, потому что наперед верно учел то настроение, с каким ехал к нему великий артист. Он предчувствовал, что к нему явится теперь не только старый друг, но и представитель определенной среды, от которой Герцена уже отделяла пропасть. «Если увижу Михаила Семеновича,—писал он в письме к М. К. Рейхель,—то я с ума сойду. Вот никогда не ждал и не думал!.. А что-то и страшно мне... я бы, кажется, никого из старых друзей видеть не хотел». А в день разлуки с приезжавшим к нему Щепкиным Герцен писал к той же адресатке: «Мне кажется, что я в лице его простился с Русью. Мы разошлись, и голос

становится непонятен». К ней же в другом письме Герцен писал: «Взгляд Мих. Сем., часто исполненный отчаяния, есть взгляд наших друзей. Они вышли из деятельности». Десять лет спустя, в исполненном любви и печали некрологе Щепкина, Герцен, вспоминая свое лондонское свидание с ним, снова не упустил подчеркнуть, что великий актер являлся к нему посланцем определенной среды: «Я видел ясно, что это не только личное мнение Щепкина». И если Герцен все-таки выделял Щепкина из этой среды, то лишь в отношении личного мужества, которое он противопоставлял его гражданской, ушибленной рабством психологии. «Первый русский,— писал он,— ехавший в Лондон, не боявшийся по-старому протянуть мне руку, был Михаил Семенович».

Миссия Щепкина — уговорить Герцена смириться и этим дать возможность его друзьям легализировать его на родине — потерпела фиаско. Но Щепкин не унылся. «Он уехал,— повествует об этом Герцен,— но неудачное посольство его все еще бродило в нем, и он, любя сильно, сильно сердился и, выезжая из Парижа, прислал мне грозное письмо. Я прочитал его с той же любовью, с которой бросился ему на шею в Фокстоне (место встречи друзей в Англии.— А. Д.), и — пошел своею дорогой».

Письмо Щепкина, о котором упоминает Герцен, дошло до нас. Это — причудливая смесь глубокой искренности с самым примитивным лукавством, тонкого и ясного ума с ребяческой наивностью. Щепкин, с одной стороны, изумительно метко попадает здесь в самое уязвимое место пропаганды Герцена за уничтожение крепостного права, которое заключалось в том, что силою вещей Герцен, ратуя против крепостников, к ним же и обращался. Щепкин формулирует эту мысль с такой ясностью и точностью и в таких политических терминах, какие сделали бы честь и заправскому политику, а не только актеру-самоучке, притом еще и крепостному екатерининских времен: «Ты знаешь Россию,— пишет Щепкин,— все ее поли-

тическое устройство и вдруг взываешь к тому классу на святое дело, который не хочет этого и не может, потому что это связано с его жизненными интересами».

Мы не припомним, чтобы кто-либо из современников Герцена с такой ясностью вскрыл основное трагическое противоречие всей политической деятельности великого публициста. И наряду с этим Щепкин в том же письме прибегает к такого рода аргументам: «С чего напала на тебя человеческая гордость делать их (т. е. крепостных) свободными против их воли?» Или: «Что же касается до равенства, то на это может тебе служить ответом вся природа, в ней нет ни в чем равенства, и между тем все в полной гармонии».

В искренность этих пустяков менее всего мог поверить Герцен, но едва ли можно сомневаться, чтобы они казались убедительными и самому Михаилу Семеновичу. Под конец письма он явно почувствовал, что получилось у него нечто невразумительное. «Может быть, тут нет логического порядка мыслей,—признается он,—зато нет строки, которая бы не была облита горькими слезами. Конечно, это тоже слабость, но что же делать, я не могу сухо любить человека и, невзирая на разность убеждений, я не умею переставать любить».

Дело объясняется просто. Едва ли не лучше кого бы то ни было из современников Щепкин знал и природу крепостников и жажду избавиться от них крепостных. И если тем не менее этот опытный и тонкий ум обращался к столь жалким аргументам, как гармонии неравенства в природе (преlestь этой гармонии была ему хорошо знакома по долголетнему практическому опыту!), или как то, что освободительная пропаганда Герцена противоречит «воле» крепостных, то единственно потому, что позиция, которую он занял, выполняя миссию прежних друзей Герцена, была и в политическом и в моральном отношении безнадежна. А безнадежные позиции, как известно, жестоко мстят тем, кто их защищает, делая их смешными.

Герцен ни одной минуты не верил, разумеется, в искренность этих аргументов, как ни одной минуты не сомневался в характере отношения Щепкина к крепостному праву. Недаром в статье, посвященной непримиримому врагу крепостничества П. А. Мартыанову, Герцен написал: «Мартыанов ненавидел крепостное право и крепостников, ненавидел, как Михаил Семенович Щепкин, как Шевченко». Корень печальной перемены в убеждениях своего друга был ему ясен: «Это благородная, теплая, но надломленная рабством натура,— писал он о Щепкине после свидания с ним.— Для него еще и речь свободная кажется дерзостью».

Герцен был здесь совершенно прав. В области своего искусства Щепкин не знал компромиссов и был совершенно непреклонен. Но он был покладист и непривередлив в сфере политико-гражданских отношений. Вот почему, живя в Москве и находясь в тесной дружбе с Белинским, Герценом, Грановским, он сохранял в то же время вполне приятельские связи с Погодиным, Шевыревым, и это принималось, как нечто естественное. Вот почему он так согнулся, когда наступила полоса жесточайшей реакции последних годов николаевщины, а таких «опор», как Белинский и Герцен, возле него уже не было.

И недаром, лишь только полоса эта миновала, он тотчас распрямился. Уже в 1858 году, при своем столкновении со всемогущим директором театров Геденовым на почве защиты интересов московских актеров, Щепкин, исчерпав все аргументы и меры воздействия на бездушного начальника, заявил: «Мне остается одно средство: я передам все дело в «Колокол».

И характерно, что в том же году знаменитый московский сатрап генерал Закревский, перечисляя в своем докладе неблагонадежные явления московской жизни, указал, что «к элементам, которые могут послужить неблагонамеренным людям, чтобы произвести переворот в государстве», относятся также и «театральные представления», а в частности «актер Щепкин

на одном из своих вечеров подал мысль, чтоб авторы писали пьесы, заимствуя сюжеты из сочинений Герцена». При этом самому Щепкину дана была такая аттестация: «Желает переворота и на все готовый».

Нет нужды подчеркивать здесь весь гиперболизм этой полицейской характеристики. Но совершенно несомненно, что в 1858 году отношение Щепкина к деятельности Герцена было, как небо от земли, далеко от того, что мы видели во время их свидания в 1853 году.

Во всяком случае Герцен и тогда еще отделял Щепкина-человека от Щепкина-плохого политика, понимал, что действовал Михаил Семенович не от своего имени, и всю ответственность за этот шаг он возложил на среду Щепкина, на страшную ту эпоху, наконец, на тяжкую биографию великого актера. В ненависти Щепкина к крепостному праву Герцен не усомнился ни на минуту, равно как ни на один миг не поколебалась в нем уверенность в любви и дружбе Михаила Семеновича.



Каков же краткий итог обзора отношений Щепкина с выдающимися людьми его времени?

Эти отношения отличались той чертой (делавшей их особенно плодотворными по существу и гармоничными по форме), что в них не было никакой односторонности. Это была связь не только на почве взаимных симпатий, но и на прочной основе взаимного обмена умственными и духовными благами огромной ценности. Попадая из провинции в Москву в среду Герцена, Гоголя, Пушкина, Белинского, Аксаковых, Грановского, этот вчерашний крепостной раб, учившийся на медные деньги и не обладавший серьезными научными познаниями ни в одной области, отнюдь не играл роли бедняка, получающего подачки. Среди великих своих современников,

из которых иные завещали свое имя векам, Михайло Семенович Щепкин чувствовал себя как равный среди равных.

Таким он и был.

III. ТВОРЧЕСТВО ЩЕПКИНА

Когда читаешь отзывы современников Щепкина об его игре, данные, так сказать, по горячим следам, тотчас после спектакля, невольно обращаешь внимание на одну их особенность: люди словно испытывают недостаток в спокойных объективных терминах и прибегают для передачи своего впечатления к каким-то восклицаниям, к иносказаниям, к гиперболам. Какой-то провинциальный рецензент пишет о нем: «Актер-чародей»; Белинский говорит о нем: «Это не человек, а дьявол»; Загоскин, что он — «актер — чудо-юдо» и т. д.

Хор этих восклицаний способен внушить мысль, что Щепкин был каким-то феноменальным явлением природы, что она, в виде редкого исключения, одарила его всеми мыслимыми для актера данными и т. д.

В действительности это не так. Внимательное изучение материалов о Щепкине и его творчестве приводит к ясному заключению, что при больших «плюсах» у него были и свои «минусы», что у него как у актера был громадный «актив», но был и «пассив», притом не такой уж ничтожный, что последний он преодолевал всю свою жизнь, а кое-чего так и не преодолел до конца.

Вот вкратце главнейшее из этого «пассива». Начнем с того, что не могло быть преодолено никакими усилиями: рост у Щепкина был невелик, ниже среднего, а так как уже смолоду он начал тучнеть, то в пору наивысшей славы сам себя он называл «толстяком», «квадратной фигурой» и т. д. Излишне говорить, как осложняло это обстоятельство игру Щепкина в тех или иных ролях.

Далее, у Щепкина от природы был голос весьма небольшого диапазона. С. Т. Аксаков характеризует его голос как «жидкий, трехнотный».

Еще одной отрицательной чертой в природе Щепкина, сильно ему вредившей, была чрезмерная чувствительность. «Храни вас бог,—писал ему Гоголь в наставлении для игры в «Развязке Ревизора»,—слишком расчувствоваться. Вы расхныкаетесь, и выйдет у вас просто чорт знает что. Лучше старайтесь так произнести слова, хотя самые близкие к вашему состоянию душевному, чтобы зритель видел, что вы стараетесь удержать себя от того, чтобы не заплакать, а не в самом деле заплакать: впечатление будет от этого несколько раз сильнее. Берегите себя от сентиментальности и караульте сами за собою». Белинский прямо указывает: «К числу его недостатков принадлежит также излишество чувства и страсти, которое иногда мешает ему вполне владеть своею ролью». А в какой мере это мешало, показывает случай, описанный в «Воспоминаниях» Панаевой: играя Ступендьева в «Провинциалке», Щепкин «так расчувствовался, что расплакался и едва мог говорить свою роль».

Близкой по назначению к перечисленным природным недостаткам Щепкина была особенность его произношения, обусловленная его украинским происхождением. Его украинский выговор был естествен на Украине, на московской сцене он обратился в трудно искоренимый недостаток, осложнявшийся еще вынесенной из школы скороговоркой.

Необходимо далее напомнить, что артистическая молодость Щепкина прошла под сильнейшим воздействием театральной искусственности. Ложноклассический репертуар прививал искусственность квазивеличественную, надутую, деревянную; мещанский сентиментальный репертуар — искусственность жеманную, чувствительную, слезливую. Последняя особенно была опасна для Щепкина, так как шла навстречу его природной избыточной чувствительности. Но и первая не ос-

талась без влияния на Михаила Семеновича, что отмечалось в свое время различными мемуаристами, в том числе и горячими почитателями великого актера.

Еще большую опасность для творческого развития Щепкина заключала в себе та актерская среда глухой провинции, в которой он долгие годы работал. Здесь попадались порой драгоценные самородки, громадные таланты, но в подавляющем большинстве это были люди полуграмотные, спившиеся, с грубейшими приемами игры. Слезы у публики эти актеры «вышибали» преувеличенным драматическим пафосом; смех — подмигиванием, шаржем, буффонадой. И нельзя утверждать, что эта «школа» не оказала своего вредного влияния на Щепкина.

Долгое время, уже подвизаясь на столичной сцене, он все еще числился актером-комиком, который во что бы то ни стало «смешит» публику. Если, наконец, вспомнить, что это был актер-самоучка со скудным общим образованием, совершенно не знакомый с иностранными языками, т. е. лишенный возможности воспринимать в полной мере игру иностранных гастролеров, то мы убедимся, что «пассив» Щепкина был весьма и весьма солиден. Тем не менее он не помешал Щепкину держать в очаровании своей игры два поколения русского общества, сделаться реформатором нашей сцены, в известном смысле ее создателем, родоначальником самой блестящей плеяды русских драматических артистов. Более того, он не помешал ему сохранить долю своего благотворного влияния на русский театр буквально до наших дней!

Объясняется это, разумеется, громадным щепкинским «активом», главное — характером последнего.

В корне этого «актива» лежит всепоглощающая театральная страсть Щепкина, зародившаяся в самые ранние детские годы и не ослабевшая в нем до последнего дня жизни. «Жить для Щепкина, — пишет С. Т. Аксаков, — значило играть на театре; играть — значило жить... Много раз

и многие были тому свидетелями, что Щепкин выходил на сцену больной и сходил с нее совершенно здоровый».

Вот одна из иллюстраций к этим словам Аксакова. Дело происходило в 1862 году, т. е. всего за год до смерти Щепкина, когда на плечах его лежал груз 74 лет. В свой бенефис дряхлый и больной артист играл в тургеневском «Нахлебнике» роль Кузовкина. Перед спектаклем он едва мог держаться на ногах. «Но лишь только он вошел на сцену,— читаем мы в воспоминаниях очевидца этого спектакля,— почувствовал в себе новую силу; огонь, согревавший его душу, поборол и старость и недуги, и, когда робкий голос угнетенного, униженного нахлебника раздался перед зрителями, сердца их дрогнули. Артист одушевлялся и вырастал с каждою минутою и с каждою минутою овладевал все более и более публикой. Он вызывал, властелином, ее восторг и слезы, и, наконец, громовые рукоплескания, раздавшиеся со всех сторон, потрясли душу старика».

Принося Гоголю благодарность за «Ревизора», Щепкин пишет: «Мои все радости сосредоточены в одной сцене. Знаю, что это почти сумасшествие, но что же делать?» К нему же в другой раз он писал: «У меня были в жизни два владыки: сцена и семейство. Первому я отдал все, отдал добросовестно, безукоризненно; искусство на меня собственно не будет жаловаться; я действовал неумоимо, по крайнему моему разумению, и я перед ним прав. В отношении же последнего я, положив руку на сердце, не могу этого сказать».

Такая исключительная «театральная страсть» определила и соответственное отношение Щепкина к театру, которое проявлялось решительно во всем,—от самого важного до последней мелочи в театральном деле. В одних воспоминаниях об артисте мы читаем: «Михаил Семенович не любил тех, кто особенно свободно, небрежно разгуливал по сцене или был в верхнем платье; это непочтение возмущало его до глубины души. В этой кажущейся мелочи он видел подготовку к рас-

пущенности. «Театр для актера — храм. Это его святилище. Твоя жизнь, твоя честь, все принадлежит бесповоротно сцене, которой ты отдал себя. Твоя судьба зависит от этих подмостков. Относись с уважением к этому храму и заставь уважать его других. Священнодействуй или убирайся вон».

Главнейшие сценические принципы Щепкина — его отношение к искусству актера, к его обязанностям, к исполняемой роли, к пьесе в целом, к зрителям, связанные в законченную и прочную систему, характеризуются точно таким же глубочайшим уважением к театральному делу.

Первым по степени важности принципом Щепкина было его глубокое убеждение, что актер в своей игре не должен подражать никогда, никому и ни при каких обстоятельствах. Каким бы слабым исполнителем он себя ни чувствовал, с одной стороны, и как бы ни восхищало его исполнение той или другой роли каким-нибудь артистом, — все равно он не должен копировать этот высокий образец. Почему? Потому, во-первых, что естественность, простота и жизненная правда исполнения, которые и создают живой сценический образ, появляются в игре актера лишь тогда, когда он живет на сцене, т. е. когда он чувствует себя тем лицом, которое он изображает, а последнее невозможно, если он кому-либо подражает, хотя бы и очень искусно. Актер, говорил Щепкин, «должен начать с того, чтобы уничтожить себя, свою личность, всю свою особенность, и сделаться тем лицом, какое ему дал автор; он должен ходить, говорить, мыслить, чувствовать, плакать, смеяться, как хочет автор». Краткий афоризм Щепкина гласил: «Не подделаться, а сделаться».

Но зло подражательности не только в том, что она несовместима с естественностью. Она несовместима с прогрессом актерской игры вообще, с совершенствованием той или иной роли в частности. Она ставит предел тому и другому, потому что, как скоро достигнут образец, которому актер подражает, он прекращает дальнейшую работу и обрекает себя на поло-

жение штамповальщика шаблонов. Залогом же прогресса актерского искусства могут быть только недовольство достигнутым результатом и постоянное стремление его улучшить.

Актерская практика Щепкина в этом отношении была беспримерна не только для его эпохи, но едва ли часто встречается подобная и в наши дни. Вот для ее характеристики лишь один пример. Десять лет он с огромным успехом исполнял роль Гарпагона в мольеровском «Скупом». Но вот, читаем мы в статье одного театрала, «приходит ему на мысль, что он до сих пор не так играл ее, что он упустил важную сторону у скупости Гарпагона: он не представил его человеком высшего состояния... Эта мысль не дает ему покоя — и для одного оттенка он перерисовывает всю картину, которую более десяти лет восхищалось целое поколение».

Вот что значило для Щепкина «перевоплотиться», «не подделаться, а сделаться».

Но из требования самостоятельно перевоплотиться в данный автором образ с необходимостью вытекают два других: во-первых, бережное и безупречно честное отношение к авторскому тексту, который в эпоху Щепкина так непринужденно искажали «отсебятиной» и «убавками» трудных либо не понравившихся мест, во-вторых, требование добиваться ансамбля.

Что касается первого, то это не нуждается в пояснениях. Скажем лишь, что в посвященных Щепкину воспоминаниях мы находим неоднократные указания на его упорную борьбу с «отсебятиной», с незнанием роли, с «убавками» и «вымарками». В глазах Щепкина, помимо всего прочего, это было проявлением неуважения и к пьесе, и к автору, и к зрителю. Что касается стремления к ансамблю, то оно диктовалось Щепкину верным взглядом его на каждую отдельную роль, как бы ни была она важна сама по себе, лишь как на часть цельного организма, именуемого пьесой. Авторский замысел воплощен не в том или ином действующем лице пьесы, не в его лишь поступках и речах, а во всех лицах и

их взаимных отношениях. Отсюда и обратно: если, как указано, актер должен «сделаться тем лицом, какое ему дал автор», то вполне достигнуть этого он сможет лишь в том случае, если сольет свое исполнение роли с исполнением всех прочих ролей. И вот Щепкин, едва ли не первый в истории русского театра, становится глашатаем ансамбля, сплошь да рядом умеряя свою игру, приглушая в своей роли эффектные и выигрышные места, чтобы не выпячиваться, не отвлекать внимания от своих партнеров, чтобы дать свободно звучать основному тону пьесы.

Каким путем постигает актер замысел автора и какими средствами он, так сказать, переливает этот замысел в свою собственную натуру?

Ответ Щепкина на этот вопрос гласит: понимание роли, как и всей пьесы в целом, дается актеру путем изучения. Глубокое и всестороннее обдумывание значения и характера каждого действующего лица; вникание в каждую реплику, в отдельное слово роли; изучение творчества данного автора в целом; углубление в изображаемую автором историческую эпоху, в выведенную им среду; сопоставление данной пьесы и отдельных ее фигур со сходными фигурами не только других пьес, но и других по характеру произведений искусства и науки,—вот те средства, которые помогают актеру понять свою роль и всю пьесу. И точно то же с дальнейшей задачей—воплощение понятого образа в игре: упорным непрерывным упражнением, пользуясь всей суммой своего жизненного опыта, заменять в себе черту за чертой чертами созданного изучением лица. Основой игры должен быть упорный труд.

И действительно: труд Щепкина был беспримерен. Говоря без всякого преувеличения, труд этот никогда не прекращался. Аксаков, который знал его, пожалуй, лучше, чем кто бы то ни было, писал: «Нередко, посреди шумных речей или споров, замечали, что Щепкин о чем-то задумывался, чего-то

искал в уме или в памяти, догадывались о причине и нередко заставляли его признаваться, что он думал в то время о каком-нибудь трудном месте своей роли, которая вследствие сказанного кем-нибудь из присутствующих меткого слова вдруг освещалась новым светом». «Летом,— рассказывает родственник Щепкина,— когда Михаил Семенович проводил время на даче, он имел обыкновение вставать и выходить утром на прогулку в шесть часов утра. Медленно и тихими шагами расхаживал он по аллеям сада или парка, молча и задумавшись.— Вы рано встали сегодня?— спрашивал его кто-нибудь из родных, когда все собирались к утреннему чаю.— Да, ходил по аллее,— отвечал он отрывисто.— Сто раз про себя роль прочел!— прибавлял он с некоторой досадой».

Напомним, что труд этот ни в малой мере не убивал и не подтачивал того огня чувств, каким Щепкин был надсеен от природы с избытком. У него было иное: обуздание вдохновения, подчинение его воле и артистическому плану, добытому сверхъестественным подготовительным трудом.

Герцен оставил нам поистине блестящую страницу об этой стороне творчества великого актера. Щепкин, писал Герцен, «был вовсе не похож на Мочалова... Мочалов не работал, он знал, что его иногда посещает какой-то дух, превращающий его в Гамлета, Лира или Карла Моора, и поджидал его.... а дух не приходил, и оставался актер, дурно знающий роль. Одаренный необыкновенной чуткостью и тонким пониманием всех оттенков роли, Щепкин, напротив, страшно работал и ничего не оставлял на произвол минутного вдохновения. Но роль его не была результатом одного изучения... Игра Щепкина вся, от доски до доски, была проникнута теплотой, наивностью, изучение роли не стесняло ни одного звука, ни одного движения, а давало им твердую опору и твердый грунт».

Крайне важно отметить при этом еще одно обстоятельство. Добиваясь естественности, простоты и правдоподобия

при изображении на сцене того или иного лица путем затраты огромного труда, согретого вдохновением, Щепкин самое это «правдоподобие» понимал в его высшем значении, с гениальной прозорливостью уже сто лет назад выступая против проникновения на сцену натурализма. «Действительная жизнь и волнующие страсти,— писал он,— при всей своей верности должны в искусстве проявляться просветленными».

Это требование и выражает в сущности родовой признак художественного реализма в отличие от натурализма, фотографически переносящего в произведение искусства необработанную жизнь.

Но и реализм Щепкина был своеобразен. Он стремился показать на сцене не «носителя» той или иной изолированной типической черты, как «скупость», «гордость», «властолюбие» и т. д., а живого человека со множеством черт, среди которых та или другая лишь преобладает. Более того, он добивался при этом показать, как и почему выдвигается эта черта в характере человека.

В этом отношении реализм Щепкина всего ближе подходит к реализму Льва Толстого, который никогда не искал изобразить и никогда не давал того, что мы привыкли называть типами, т. е. характеры сразу законченные, оформленные, как бы застывшие перед глазами художника подобно натурщику в студии. У Толстого нет таких «типов», потому что своих героев он брал динамически, в самом процессе их складывания, которое происходило у него тут же, под пером, перед глазами читателя. Это самое на сцене делал Щепкин. Он годами жил со своими героями, формировал их облик из тех миллионов отдельных наблюдений, какие постоянно выуживал из жизни, они то и дело обновлялись в его воображении, они для него самого были не «носители» выпяченной черты, а живые люди, со всей сложностью и противоречивостью своих особенностей и поступков. И, раскрывая эту

сложность на сцене, он тоже как бы «складывал» на глазах у зрителя изображаемое лицо.

Каковы же были достигнутые Щепкиным результаты?

Без малейшего преувеличения — они были громадны.

С особенной наглядностью выступают достижения Щепкина в преодолении того «пассива», о котором мы говорили выше. Щепкин преодолел почти все, кроме, конечно, дефекта своей фигуры, но и тут надобно отметить, что зритель как-то не замечал ни тучности Щепкина, ни его небольшого роста, даже когда по характеру роли то и другое не подходило. Постоянной тренировкой он до глубокой старости сохранил гибкость тела и подлинное величие умел показать на сцене, несмотря на малый рост. Но уже дефекты голоса, произношения, избыток чувствительности, преобладание прирожденного комизма над другими чертами, а также воздействие ложноклассической школы, привившие Щепкину искусственность в игре, — все это он преодолел почти без остатка. «Свое произношение, — писал тот же Аксаков, называвший голос Щепкина «жидким, трехнотным», — он выработал до такой чистоты и ясности, что шопот Щепкина был слышен во всем Петровском театре».

Не менее успешна была борьба Щепкина с привитыми ему повадками «смешить» публику. Об этом лучше всего свидетельствует следующий факт. Когда восемнадцатилетний Белинский, попав из пензенской глуши в Москву, увидел на сцене Щепкина, он написал в письме к своим родителям: «Лучший комический актер здесь Щепкин». А позднее тот же Белинский указывал, что Щепкин «в одно и то же время умеет возбуждать и смех и слезы», наиболее характерной чертой творчества Щепкина считал именно то, что ему всего более удаются роли, которые требуют не одного комического, но и глубокого патетического элемента, и с жаром доказывал, что «Щепкин принадлежит к числу немногих истинных жрецов сценического искусства, которые понимают,

что артист не должен быть ни исключительно трагическим, ни исключительно комическим актером, но что его назначение — представлять характеры».

Относительно борьбы Щепкина с избытком у себя чувствительности мы имеем драгоценное свидетельство такого ценителя, как Гоголь. Давая артисту разного рода наставления и советы для игры в «Развязке Ревизора», он особенно напирал как раз на эту опасность... «Храни вас бог слишком расчувствоваться... Вы расхныкаетесь, и выйдет у вас просто чорт знает что... Берегите себя от сентиментальности и караульте сами за собою». А впоследствии, когда Щепкин пожаловался в письме к своему великому другу на угрожающие признаки старости, мешающие ему работать, Гоголь возражает: «Ваш талант не такого рода, чтобы стариться. Напротив, зрелые лета ваши только что отняли часть того жару, которого у вас было слишком много... Теперь вы стали в несколько раз выше того Щепкина, которого я видел прежде. У вас теперь есть то высокое спокойствие, которого прежде не было. Вы теперь можете царствовать в вашей роли, тогда как прежде вы все еще как-то метались».

Что касается изгнания следов искусственности из своей игры, то о достижениях Щепкина в этом направлении свидетельствует хотя бы следующий необыкновенно выразительный факт. Приехав на гастроли в Казань, он, перезнакомившись с артистами, обратился к окружающим: «Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор...» Вся труппа ошалела и никак не могла взять в толк слова знаменитого комика: о каком он ревизоре сообщает? и какому ревизору дело до казанского театра? Только после прямого вопроса Щепкина, кто же исполняет роли других персонажей «Ревизора», труппа догадалась, что Щепкин начал репетицию знаменитой комедии. Естественность и жизненную правдоподобность в интонации Щепкина мы оценим по достоинству, если примем во

внимание, что перед ним были актеры-профессионалы, а не какие-нибудь неопытные любители.

В известной мере Щепкин еще при жизни своей успел видеть, как велики результаты его трудов, как плодотворны его принципы сценического искусства. Когда такой тонкий и просвещенный зритель, как Поливанов, двадцать восемь раз смотрел Щепкина в роли Фамусова, то артист не мог не знать, что это только потому, что, вечно работая над ролью, он всякий раз дает своему зрителю нечто новое. Он не мог не знать мнения о своей игре одного из сильнейших и образованнейших умов XIX века, Герцена, считавшего, что «Щепкин и Мочалов, без сомнения, два лучших артиста из всех виденных в продолжение тридцати пяти лет и на протяжении всей Европы». Он не мог не видеть, как под прямым его воздействием и влиянием восходят на горизонте русского театра такие светила, как Шумский, Федотова и др.

Но, разумеется, об истинных размерах своего значения в истории русского театра Щепкин не подозревал. Он не подозревал, что посеянная им идея ансамбля сделается законом, аксиомой театрального искусства, что такой же аксиомой делается и другая его идея — о необходимости для актера изучения и неусыпного труда. Он не знал, что ровно через тридцать пять лет после его смерти, в 1898 году, возникнет в Москве театр, вся всемирная слава, весь блеск которого воздвигнется на культе центральных щепкинских идей: ансамбля, естественности, перевоплощения в изображаемое лицо, проникновенного изучения пьесы и труда, труда, труда. Он не знал, что вдохновитель и создатель этого театра, гениальный Станиславский, напишет книгу «Моя жизнь в искусстве», всю насквозь проникнутую духом Щепкина, развивающую его идеи и с поразительной яркостью доказывающую их непреложность.

Этого всего он не мог знать. Но мы, в Советском Союзе, с его культом творческого труда, с его оценкой ре-

ализма как высшего закона развития искусства, с его бурным расцветом театральной жизни, мы ясно теперь видим, что от Щепкина до наших дней судьба русского театра была такова: он снижался до степени приятного развлечения, а в худшем случае — до пустой забавы, когда покидал пути Щепкина. И он сразу оживал и становился крупнейшим фактором не только в прогрессе искусства, но и в жизни народа, когда вновь прикасался к щепкинской традиции, к его сильному, здоровому реализму, к большому стилю жизненной правды.

IV. ЩЕПКИН У СЕБЯ В ДОМЕ. ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

Щепкин не раз указывал, что интересы театра у него преобладают над интересами собственной семьи. Но из этого не следует, что в личном и семейном быту Щепкин представлял собою нечто вроде аскета-отшельника, замкнувшегося в свое искусство, отгородившегося от мира и чуждого всем радостям и печалям повседневной жизни. Напротив, и в сфере личной жизни он был таким же здоровым, полнокровным реалистом, как и на сцене. У него была многочисленная дружная семья, вместе с домочадцами доходившая до 24 человек; он любил быть окружен близкими людьми, друзьями; двери его дома были всегда широко и гостеприимно открыты. Но это было не то помещичье гостеприимство «старого доброго времени», которое порождали, с одной стороны, томление безделья и жажда «убить время», а с другой — избыток шальных средств, легко приходивших и легко уходявших; это было гостеприимство дружной трудовой семьи, богатой разнообразными интересами и живым сочувствием к людям, именно тем, что и создает крепкую людскую спайку. О том, какого сорта было гостеприимство Щепкина, расскажет нам его письмо к М. В. Лентовскому, популяр-

ному в 80-х годах московскому театральному антрепренеру. Это замечательный человеческий документ, необыкновенно выразительно рисующий нам облик Щепкина. Написано оно, когда автору письма было без малого 75 лет; адресату же его, Лентовскому, исполнилось в то время всего только 15 лет. Лентовский обратился к знаменитому актеру с просьбой оказать содействие его стремлению посвятить себя сценической деятельности. Вот что отвечал ему Щепкин:

«Милостивый государь Михайло Валентинович!

Письмо ваше от 18 октября я получил 30 октября, и оно мне доставило большое удовольствие, я вдруг сбросил с костей 60 лет и сделался таким же 15-летним юношей, как вы. Я вспомнил, что я был одержим такою же горячкой, какой в настоящее время вы страдаете. И дай бог, что[бы] и ваши мучения кончились так же счастливо, как мои.

Денег на проезд к вам вышлю 80 руб. серебром, этого будет достаточно. Я этим письмом хотел только успокоить вас, ибо я понимаю, в каком должны быть мучении в ожидании ответа. Деньги я вышлю через неделю, а вы этим временем приготовьтесь. Первое дело согласие отца. Я нарочно прилагаю при сем описание моего юбилея, и вы прочтете ему оный, из него он увидит, что и актеру можно быть человеком, и потому вместо жалоб пусть он благословит вас на этот труд и поможет своей опытностью, как удобнее вам доехать до Нижнего, а там уже по железной дороге. Вы, разумеется, приедете прямо ко мне. Я вас помещу в мое семейство, разумеется, я вам дам и семейный стол с чаем, а в школу учиться будете ходить; учиться танцевать, фехтовать и музыке, и я убежден, что ежели бог не обидел вас средствами, то при старании мы будем людьми, но помните, что при старании. А главное при нравственном настроении, ибо, помещая вас в мое семейство, оно необходимо.

Я вам, кроме квартиры и стола, дам вам еще общество моих знакомых, между которых много литераторов и профес-

соров. Это для вас будет полезно. Жаль, что вы оставили гимназию: вспомните, что наука — фундамент для всех искусств.

Теперь главное, как добраться до Москвы; я боюсь за вас, вы говорите, что вы не вовсе здоровы, то главное по-теплее оденьтесь. Не стыдитесь овчинного тулупа, в нем главное тепло, а бедность не порок. И при том чтобы ноги были теплы. Ну, прощайте, готовьтесь, а главное не забудьте вид: потому что без него жить нельзя. Деньги, повторяю, вышлю чрез неделю, а в настоящую минуту их нет.

Буду ждать вашего приезда растопырив руки, чтобы прижать вас к своему старому, но еще очень горячему сердцу. Прощайте.

Весь ваш Михайло Щепкин.

От 4 ноября (1862 г.).

Не сердитесь, что скверно пишу, в 75 лет руки не слушаются».

В этом поразительном отклике на просьбу о помощи незнакомого юноши не было ничего исключительного в житейской практике Щепкина. В его доме находили себе приют, порой долголетний, и бедняк-студент, чуть что не пешком пришедший в Москву учиться, и начинающий артист, подающий надежды, и какая-нибудь бездомная старушка, родственница умершего приятеля (как, например, сестра Мочалова, ряд лет до самой своей смерти проводшая в семье Щепкина), и старый театральный парикмахер, с которым Щепкин долго работал вместе в театре и затем, спасая его от запоя, навсегда поселил у себя. Таков был Пантелей Иванович, послуживший Островскому прототипом для Любима Торцова. Здесь можно было часто слышать и раскатистый хохот Кетчера, и задышающуюся речь Белинского, и изящные рассказы Тургенева, и шуточки Гоголя, и умную беседу Аксакова, и огненные вспышки Герцена.

А центром и как бы дирижером всего этого хора была сам хозяин, полный, невысокого роста человек, с крупной головой, с умным и добрым лицом, с прекрасными большими пронзительными серыми глазами и высоким открытым лбом. Уже в преклонном возрасте он, благодаря неустанной тренировки, все еще был жив, подвижен, быстр, ловок. Главное же — он был обаятелен. «Его все любили без ума: дамы и студенты, пожилые люди и девочки», — писал о нем Герцен; «люблю его до страсти», — признавался в письмах к друзьям Белинский, который, получив портрет Щепкина, писал об этом старике так, как пишут разве о возлюбленной: «Слеза, братец мой, чуть не прошибла меня, когда я увидел эти старые, но прекрасные, с их старостью, черты». Окруженный этой всеобщей любовью, особенно теплой в кругу его обширной семьи, он переходил, беседуя, от внука-ребенка к старушке, раскладывавшей пасьянс, от Грановского или Аксакова к запойному старичку-парикмахеру, ко всем внимательный, участливый, направо и налево расточая свои умные замечания и острые словечки, которые затем разносились по всей Москве. А потом, в полночь, гости уходили, домашние разбредались по своим углам, а старый артист у себя в кабинете принимался в безмолвии ночи за работу, которая в сущности никогда и не прерывалась и невидимо происходила даже в часы самых оживленных бесед.

Последние годы великого артиста были окрашены грустью. Уходили из жизни наиболее ему близкие люди: Грановский, Аксаков, Шевченко, еще ранее — Гоголь, Белинский; Герцен навсегда покинул Россию... Жалобы на усталость, на непосильную работу, на необходимость слишком часто выступать и т. д. начинают звучать в его письмах конца 40-х годов, затем все чаще и определеннее. В 1849 году он пишет к жене из Петербурга: «В последние одиннадцать дней я играл восемь раз, все это немножко тяжело для старика». В 1863 году, за несколько недель до смерти, он из Ниж-

него-Новгорода пишет к детям и внукам: «Исповедуюсь — тяжело играть стало». Щепкин старел, силы его падали. Уйти из театра «на покой» он не мог как потому, что для него это было равносильно уходу из жизни, так и в силу стесненных материальных обстоятельств. Уже на склоне лет (и на вершине славы), в 1857 году, он писал к сыну Николаю (письмо не издано): «На днях от Строганова сына привезли альбом ко мне, чтобы я написал что-нибудь в этом альбоме, хотя что-либо из какой-нибудь пьесы; я написал из Ревнзора: казенного жалованья нехватает даже на чай и сахар».

Как ни скромно велось хозяйство в его доме, многочисленная семья нуждалась в довольно значительных средствах, которые доставлял Щепкин. Таким образом, он лишен был возможности даже резко сократить количество своих выступлений на сцене и даже хотя бы отказаться от гастролей в провинции.

А между тем Щепкин органически не мог понизить и ослабить те требования совершенства исполнения, которые он так беспощадно предъявлял к себе. При неизбежном в старости падении физических сил и ослаблении памяти это приводило к тому, что для достижения прежних сценических результатов дряхлеющий Щепкин должен был затрачивать еще больше сил, чем прежде, должен был надирать их. И тем не менее старость брала свое, прежних результатов он не получал, и к физическим невзгодам прибавлялись нравственные страдания и чувство полной неудовлетворенности. И. Ф. Горбунов в своих воспоминаниях рассказал жуткий эпизод, когда Щепкин, за два года до смерти, выйдя на эстраду, молча стоял перед публикой, позабыв начало стихотворения, которое он должен был читать... Тягостное молчание... Наконец, Горбунов вышел на сцену и шепнул старику первую строчку. Щепкин воспрянул и с огромным подъемом прочел стихотворение, а потом слезы хлынули у него потоком... Случалось, что теат-

ральные рецензенты отмечали в своих отзывах это разрушительное влияние времени на талант и игру Щепкина.

Подъем общественного настроения во второй половине 50-х годов, особенно же толки и слухи о предстоящем уничтожении крепостного права, а затем и самая отмена последнего поднимали настроения Щепкина, ободряли его. Бодрые нотки прорываются в эту пору в его письмах к близким, но именно прорываются. В мае 1859 года он пишет из Петербурга к жене: «Главное, не упадай духом и помни, что и я после [тебя] не долгой жилец, а время такое, что надо жить». Вскоре после этого, 1 июля 1859 года, жена Щепкина умерла.

Щепкин затосковал, но все еще не сдавался. Страшным напряжением последних сил ему иногда удавалось еще подниматься на прежнюю высоту творчества и, как мы видели в исполнении роли Кузовкина в «Нахлебнике», потрясать зрительный зал, но это были только вспышки; сам Щепкин видел, он не мог не сознавать, что ему пора на покой, и все же он не уходил.

Летом 1863 года Щепкин по настоянию врачей отправился в сопровождении слуги для лечения в Крым, но и тут ему пришлось в дороге дать несколько спектаклей. Один из них, в Ростове-на-Дону, прошел из-за слабости артиста так неудачно, что на следующий (назначено было «Горе от ума») билеты остались нераспроданы и спектакль пришлось отменить. В начале августа Щепкин приехал в Ялту. Князья Воронцовы, владельцы знаменитого алушкинского майората, выслали за артистом коляску, в которой он и был доставлен во дворец. Казалось, тут для него создается идеальная, в смысле лечения и отдыха, обстановка в великолепном дворце меценатов, имевших тут же своего врача, свою аптеку и т. д. Но вечером у князей Воронцовых собрались гости, и хозяева «угостили» их мастерским щепкинским чтением «Мертвых душ». Вероятно, Щепкину «неудобно» было отказаться...

Читал он долго, и ему сразу сделалось хуже. Осмотревший его врач сообщил хозяевам, что положение больного серьезно и смерть может последовать внезапно. Тогда княгиня, боявшаяся покойников, настояла, чтобы Щепкина уже на утро отправили в Ялту, в гостиницу...

Так и сделали. Задыхавшегося тучного старика поместили в номере гостиницы окнами на солнце (теневые комнаты были в эту пору дороже и оказались Щепкину «не по средствам»), а вечером в верхнем этаже гостиницы, над самой головой умиравшего, происходил бал — с полковой музыкой, с танцами. Устроительница бала, знакомая Щепкина, в интервалах между танцами сбегала вниз навестить старика и затем снова подымалась потанцовать. Бал затянулся до самого утра, а того же дня, в 12 часов, Щепкин, вспомнив перед самой кончиной Гоголя, испустил последний вздох.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Набранное курсивом написано рукою А. С. Пушкина.

² Дед М. С. Щепкина был закрепощен необычайно просто и легко. Пользуясь законами, изданными при Петре I и Елизавете, о записи за помещиками людей духовного звания, не состоящих при церквях на действительной службе, калужский помещик прапорщик Измайловского полка граф Семен Егорович Волькенштейн, которому понравился голос тринадцатилетнего Григория Щепкина, подал в канцелярию, производившую ревизию, заявление о своем желании записать за собою находящихся при Спасской церкви церковника Архипа Савина и попова сына Григория, ссылаясь на то, что «означенные люди помещика себе не приискали». Этого оказалось вполне достаточно, чтобы канцелярия постановила: «отдать церковника Архипа Савина и попова сына Григория ему — графу Волькенштейну — в вечное владение по платежу подушных денег и прочих государственных поборов».

³ Записки писались в эпоху николаевщины, и Волькенштейны аттестовались автором как добрые лишь на фоне тогдашних жестоких помещичьих нравов. Младший брат актера Щепкина, Абрам Семенович, в своих «Записках» (доселе не изданных) с полной определенностью свидетельствует, что «граф Волькенштейн при всей доброте и при всем благорасположении к окружающим его людям в самом деле был не что иное, как помещик, который поддерживал систему крепостного состояния и был проникнут чувством раболобия в самой высшей степени. Графиня также принадлежала к чи-

слу самых раболобивых созданий». Ясно, что в данном случае «раболобие» надо понимать в том смысле, что они любил владеть рабами.

⁴ Князь Николай Григорьевич — *Репнин-Волконский*. О нем и о роли, сыгранной им в деле выкупа Щепкина из крепостного состояния.

⁵ Начало первого псалма.

⁶ «Новое семейство» — опера С. К. Вязмитинова (1749—1819); выпущена в Москве в 1781 г.

⁷ Эта глава была напечатана в № 1 «Современника» за 1847 г. под названием «Из записок артиста».

⁸ Описываемое событие, представление «Вздорщицы» А. П. Сумарокова, относится к 1800 г.

⁹ Учитель суджанского училища, под руководством которого состоялось первое выступление Щепкина на сцене, был Илья Иванович Федюшкин.

¹⁰ Александр Г. (?) Ожогин (род. около 1750 г., год смерти не установлен) — актер-комик театра Медокса. В то время уже не играл (в 1800 г. покинул сцену). Яков Емельянович Шушерин (1749—1813) — известный столичный артист.

¹¹ Ошибка Щепкина: семь.

¹² Розалию, дочь Бурды, «вздорщицу».

¹³ От этой чрезмерной скороговорки, нажитой, как мы видели, бесконечным протверживанием «задов», Щепкин не мог вполне отделаться до конца жизни. Уже в 1846 г., давая Щепкину указания относительно исполнения ролей в «Развязке «Ревизора», Гоголь, между прочим, писал: «Ваш большой порок в том, что вы не умеете выговаривать твердо всякого слова».

¹⁴ Не только в посмертных отдельных изданиях «Записок» Щепкина, но и при жизни его, в 1858 г., в журнале «Атеней», в майской-июньской книжке которого была напечатана эта глава под заглавием «Учебные годы», мы читаем здесь «в 1802 году». Однако в рукописи последняя цифра похожа скорее на «1», а не на «2», единица здесь и должна быть; Щепкин в этой главе рассказывает о своих отношениях с И. Ф. Богдановичем, известным автором «Душеньки», а между тем Богданович умер в Курске в самом начале 1802 г. (6 января). Таким образом, присзд Щепкина в Курск следует отнести на предыдущий, 1801 г.

¹⁵ Щепкин отличался обширной памятью, сохранив ее почти до конца жизни, когда она начала порой ему изме-

нять, что несказанно мучило его. Своей памятью он гордился, считая хорошую память неперменной принадлежностью артиста. В одних воспоминаниях о Щепкине сообщается, что «чтобы рассердить Михаила Семеновича, достаточно было спросить, помнит ли он то-то и то-то. «К чему говорить глупости? Конечно, помню. Память — моя специальность и мой неизменный, лучший друг», — отвечал он, кипятясь. Михаил Семенович не только знал назубок свои роли, но и целые драматические произведения: «Горе от ума», «Скупой рыцарь», «Благородный театр» Загоскина и все небольшие драматические сцены Пушкина, «Ревизора», «Разъезд», «Тараса Бульбу» Гоголя, «Мцыри» Лермонтова, «Кобзаря» Шевченко и т. д. Артист Вильде сообщает, что в последний год своей жизни, гастролируя в Н.-Новгороде, Щепкин пережил трагический момент на почве ослабления своей памяти. Исполняя множество раз игранную роль в пьесе «Женихи», Щепкин вдруг ее позабыл, вследствие чего произошла в игре заминка. По окончании спектакля Щепкин «в страшном волнении и негодовании на себя» кричал: «Чорт знает, что со мной случилось, сто раз играл, любимая роль и вдруг забыл!.. Старость проклятая!» Как бы наперекор судьбе, он на следующий же день снова выступил в этой роли, чтобы «доказать публике, — говорил М. С., — что могу играть роль без запинки, как следует». «Щепкин доказал то, что хотел», — добавляет по этому случаю Вильде.

¹⁶ Автор популярной в свое время «Душеньки» (1743—1802).

¹⁷ См. примечание 14.

¹⁸ Пьеса Я. Б. Княжнина. Спектакль происходил в селе Красном.

¹⁹ Около того же времени Щепкин играл актера в пьесе «Опыт искусства», Степана-сбитенщика в «Сбитенщике» и инфанта в «Редкой вещи».

²⁰ Князь Прокопий Васильевич Мещерский, гофмаршал при Павле I, автор торжественных од, крупнейший в свое время актер-любитель, оказавший своею реалистической игрой громадное влияние на молодого Щепкина, о чем см. дальше. Умер при Александре I.

²¹ «Зоя» (или, как тогда писали «Зоа») — пьеса французского драматурга Мерсье (1740—1814), насадителя так называемой «мещанской драмы», боровшегося с ложноклассическим направлением в театре. Роль Андрея-почтаря — чрезвычайно благодарная в пьесе. Он в ней выступает в качестве

ловкого, сообразительного, плутоватого, но самоотверженного и чувствительного устроителя счастья двух влюбленных, преследуемых чопорным и надменным отцом героини — Зои. Этот спектакль по справедливости считают началом театрального поприща Щепкина.

²² Князь Александр Александрович *Шаховской* (1777—1846) — плодовитый драматург и известный театральный деятель. Во многих его пьесах, в свое время пользовавшихся большим успехом, играл Щепкин.

²³ Иван Афанасьевич *Дмитревский* (1734—1821) — знаменитый актер, крупнейший представитель и родоначальник ложноклассического направления в русском театре, автор и переводчик множества пьес.

²⁴ Шарль Роллен (1661—1741) — французский историк и педагог, в настоящее время почти забытый, но в свое время подлинный реформатор исторической науки как предмета школьного преподавания.

²⁵ Иван Федорович *Штейн* вместе с Осипом Ивановичем *Калиновским*, о котором далее говорит Щепкин, были виднейшими театральными деятелями в тогдaшнее время в русской провинции. В труппе Штейна выдвинулось немало крупных артистов, попадавших затем в столичные театры. В Харькове труппа обычно подвизалась во время ярмарок Успенской и Крещенской, а затем кочевала по различным российским городам. Служба Щепкина в труппе Штейна продолжалась пять лет, с 1816 по 1821 г. Значительную часть этого времени труппа провела в Полтаве.

²⁶ «Сын любви» — пьеса А. И. Писарева.

²⁷ Елена Дмитриевна *Щепкина* (1789—1859) была родом турчанка. В 1791 г., во время взятия Анапы, русские солдаты нашли среди развалин покинутой населением деревни плачущую двухлетнюю девочку, которую забрали с собой. Воспитывалась она сначала у какой-то кормилицы, потом у генерала Чаликова, начальника отряда, занявшего Анапу, потом у какой-то княгини Салоговой, переезжая с места на место, на положении забавной «сиротки», «турчаночки», комнатного развлечения, на которое специально приходили глядеть офицеры, то соседи-помещики. Она была очень хороша собой, умна, жива, и то и дело ей приходилось отбиваться от покушений со стороны офицеров и вообще посетителей тех домов, где она находила приют. В одного из домогавшихся ее офицеров Н. М. Лосева она и сама влюбилась, но брак

с ним расстроился. Положение ее, еще более «промежуточное» и «двойственное», чем положение юного Щепкина, было в той среде, где она росла, самое рискованное. Она была постоянной жертвой сплетен, мнимыми победами над ее сердцем хвастались друг перед другом.

Знакомство ее с будущим мужем произошло на почве как раз такой сплетни. Приятель Щепкина Веригин, довольно, повидимому, бездарный учитель, работавший в имении владельцев Щепкина, как-то похвастался перед последним, что у него есть любовница — турчанка. Проницательный Щепкин по виду его понял, что он бахвалится, и сказал, что не поверит, пока не увидит, как они друг с другом обходятся. Условились съездить к «турчанке» за 25 верст. Предлог нашли: присмотреть у «благодетелей» турчанки духовую музыку для графа Волькенштейна. Увидев вместе Веригина с Еленой Дмитриевной, Щепкин по ее обращению окончательно уверился, что приятель его солгал, сам он тут же влюбился в девушку. После их отъезда, пишет Е. Д. Щепкина в своих любопытных воспоминаниях (не изданных), «мне все глаза просмеяли, но между тем и я какйцца не совсем была равнодушна, но я того не показывала, он же мне Лосева живо напомнил. И потому я начала здаватца... Один на один не говорили ни слова... Он в то время точной был бесенок». Они еще несколько раз встречались, причем однажды Елена Дмитриевна видела Щепкина и на сцене. Чувство между ними все более крепло, и, когда девушка последовала за своей очередной благодетельницей в Петербург, между ними завязалась переписка, вначале со стороны Щепкина даже примитивно конспиративная: он «тогда писал письма от Маши женщины. И долго он женским именем писал, покуда я не написала, чтобы писал настоящим именем, ибо многие знают, что я с вашим семейством знакома была. Да и письма Ево были такие нежные, хто бы прочитал, то сей час бы догадался, что мущина пишет. Он стал и заправски писать».

Когда девушка объявила, что выходит за Щепкина, и собралась к нему ехать, чтобы обвенчаться, то княгиня Салогова «говорила мне очень много, что, вышечи за господского человека, ты все должна будишь делать, что заставят, ну, например, Ево сделают пастухом. И твоя участь, понимаешь, какая будит. Я ей тут же сказала: кнегиня, не сокрушайтесь, я себя на все приготовила. Только бы жить с любимым человеком, я все буду выносить с терпением.

Ибо сколько я Ево люблю и жить без него не могу. Все равно я не переживу, когда за него не выду».

Семейная жизнь Щепкиных, поженившихся в 1812 г., была очень счастливой.

²¹ Езда на долгих (в противоположность езде на перекладных) происходила без смены, всю дорогу на одних и тех же лошадях, кормежка и отдых которых отнимали много времени.

²² См. описание приезда Чичикова к генералу Бетрищеву. «Мертвые души», т. II, гл. 2-я. Гоголь воспользовался здесь рассказами Щепкина.

³⁰ Николай Родионович Судовщиков — драматург конца XVIII века. Названная выше пьеса была тогда свежей новинкой (вышла в Москве в 1802 г.).

³¹ Владимир Александрович Сологуб, граф (1814—1882) — писатель, автор повести «Тарантас», о которой весьма сочувственно отзывался Белинский.

³² Вероятно, Александр Дмитриевич Чертков — археолог и историк, основатель известной Чертковской библиотеки.

³³ Николай Федорович Щербина (1821—1869) — талантливый поэт; главное содержание его поэзии составляют картины античной жизни. Щербина написал несколько стихотворений на гражданские мотивы, одно из которых, «Оправдание», Щепкин очень любил. В январе 1857 г. он, очевидно, именно о нем пишет в письме к сыну: «прилагаю при сем стихи Щербина. Я от них в восторге:

Наш век и наше поколение

Безмолвно сносят клевету

Незаслуженного презренья

И громких браней пустоту.

Оно безмолствует, но знает,

Что мысль живая скрыта в нем,

Что нас потомство оправдает

Своим торжественным судом.

Что суд не видит современный

Ни слез подавленных, ни мук,

Ни мысли с болью сокровенной,

Ни скованных судьбою рук.

Но мы к блаженству возрожденья

Ступеней нужною легли,

Чтоб мира тяжкие движенья

По ней вперед от нестроенья

К грядущей стройности пошли.
И ту ступень, где отряхали,
Не замечая прах от ног,
Когда во храм по ней вступали,
Превыше звезд поставит бог.

В письме Щепкина два-три слова приведены с ошибками, которые мы находим излишним здесь специально оговаривать.

³⁴ Сестра графини Анны Абрамовны Волькенштейн, крепостным которой был Щепкин.

³⁵ Т. е. война 1812 г. России с Францией, так называемая Отечественная война.

³⁶ Рекрутская квитанция выдавалась так называемым «охотникам», вызывавшимся «добровольно» отбывать воинскую повинность, в ту пору бессрочную. Другими словами, это была «добровольная» пожизненная солдатчина. «Охотников» завлекали всякими обманами и соблазнами, чаще всего спаивали и «брили лоб» в бесчувственном состоянии. Владелец рекрутской квитанции вправе был ее продать кому угодно, а так как такая квитанция освобождала от исполнения воинской повинности, то цены на нее стояли высокие. Это повело к тому, что богатые люди все время страшной солдатчины возложили на бедняков. Когда случались усиленные наборы, помещики сдавали в ополчение лишних против нормы рекрут, получая в свою пользу рекрутские квитанции за тех из них, которые не возвращались с войны.

³⁷ Михаил Николаевич Загоскин (1789—1852) — автор «Юрия Милославского» и целого ряда других романов, а также и пьес, из которых во многих выступал Щепкин. С 1831 г. Загоскин состоял директором московских театров. Заслуга привлечения Щепкина на московскую сцену в значительной степени принадлежала ему.

³⁸ Театральная школа при московском театре. Определение Щепкина «учителем декламации» в этой школе состоялось 9 августа 1832 г.

³⁹ В данном случае Щепкин либо скромничает, либо в понятие декламатор включает тот специфический привкус парадной искусственности, который в ту пору был присущ этому виду искусства. Как чтец Щепкин, по свидетельству современников, не знал себе равных, причем он был одинаково силен как в комических выступлениях, так и трагических (например, непередаваемой силой отличалось его чтение монолога «Скупого рыцаря» Пушкина).

⁴⁰ Николай Иванович *Надеждин* (1804—1856) — ученый, критик и профессор.

⁴¹ Название московской улицы, где находились лучшие магазины (ср. Фамусов: «Вот он, Кузнецкий мост, наряды и обновы», «Горе от ума», д. IV, явл. 14).

⁴² Сергей Тимофеевич *Аксаков* (1791—1859) — известный писатель, автор и переводчик ныне забытых пьес, а на склоне лет — автор высокохудожественных мемуаров. С Щепкиным он был весьма дружен и не раз писал о нем в своих театральных воспоминаниях.

⁴³ Александр Иванович *Писарев* (1803—1828) — автор множества водевилей и злободневных куплетов, в свое время пользовавшихся громадным успехом. Это был яркий представитель своего рода устного фельетона — литературной формы, угасавшей по мере развития прессы.

⁴⁴ Дмитрий Владимирович *Голицын*, князь (1771—1844) — с 1820 г. до самой смерти московский генерал-губернатор.

⁴⁵ Это были не именины, а день рождения князя Голицына. Вместе с Щепкиным в Рождество приехали артисты Сабуров, Рязанцев и Кубишта, которые совместно с любителями Араповым, Верстовским, Забоскиным и Писаревым разыграли шутку-импровизацию: «Репетиция на станции, или Доброму служить — сердце лежит».

⁴⁶ Федор Федорович *Кокошкин* (1773—1838) — театральный деятель и автор многих пьес, успеха не имевших. В бытность его управляющим московским театром состоялся переход Щепкина на столичную сцену.

⁴⁷ Пимен Николаевич *Арапов* (1797—1861) — драматург и актер русского театра.

⁴⁸ Настоящая глава (как и предыдущая) является лишь отрывком, повидимому, с утраченным началом. История выкупа Щепкина из крепостной зависимости, составляющая предмет настоящей главы, более подробно изложена в прилагаемом к «Запискам» очерке.

⁴⁹ Об этой подписке сказано в том же очерке; в частности же по поводу С. М. Кочубея надо отметить, что имя его в подписном листе не значится, а подписал он «от неизвестного» не 500, а 250 руб.

⁵⁰ В данном случае также неточность: полковник подписал не 1 100, а 1 992 руб. — каточный выигрыш; впрочем, это дела не меняет, и напрасно Щепкин отнес этот выигрыш на свое счастье: полицеймейстер Киценков своего карточного

долга не уплатил. Очевидно, полковник Таптаков верно рассчитал свою щедрость.

⁵¹ Этот не названный Щепкиным чиновник есть Имберх Алексей Осипович, действительный статский советник (род. в 1790 г., умер в 1864 г.) — автор «Записок», печатавшихся в «Русской старине». В то время как Щепкин писал свои мемуары, Имберх был еще жив; естественно, что артист не называет его имени.

⁵² Иван Петрович Котляревский (1769—1838) — известный украинский писатель, автор пьес «Наталка-Полтавка» и «Москаль-Чаривный», продержавшихся в репертуаре украинского театра до наших дней и перевода-переделки «Энеиды». «Наталка-Полтавка» была впервые поставлена в 1819 г. на сцене полтавского театра с участием Щепкина.

⁵³ Абрам Семенович Щепкин (род. по одним источникам в 1805 г., по другим — в 1802 г., умер в 1895 г.) — автор неопубликованных записок о жизни и творчестве своего старшего брата, которого он пережил на 32 года.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
<i>А. Дерман.</i> Предисловие	3
ЗАПИСКИ АКТЕРА ЩЕПКИНА	
[I. Первые годы детства]	9
[II. Уездное училище в Судже и комедия «Вздорщица»]	55
[III. Учебные годы]	75
[IV. Первый успех на губернской сцене]	92
[V. Спасение утопающих]	104
[VI. Князь П. В. Мещерский]	107
[VII. Представление «Дон-Жуана» в Харькове]	115
[VIII. Прошлые нравы]	124
[IX. Доброе старое время]	134
[X. Актриса С — на]	139
[XI. Посещение М. С. Щепкиным московского генерал- губернатора князя В. С. Голицына в Рождествене]	152
[XII. Рассказ М. С. Щепкина о его выкупе]	155
А. ДЕРМАН. ЧЕРТЫ ИЗ БИОГРАФИИ И ТВОРЧЕСТВА М. С. ЩЕПКИНА	
I. Щепкин в провинции	161
II. Щепкин в Москве	172
III. Творчество Щепкина	193
IV. Щепкин у себя в доме. Последние годы	205
<i>Примечания</i>	215

Редактор А. Рототаев
Художник А. Бажанов
Технический редактор
Н. Мурашова
Корректор А. Серегина

* * *

Сдано в набор 22/IX 1938 г.
Подписано в печать 26/X 1938 г.
Тираж 5.000. Формат бумаги
74×110^{1/32}. Кол. бум. л. 3,5.
Кол. печ. л. 7^{1/4}. Уч. авт. л. 8,5.
Кол. печ. знак. в печ. л. 43.000.
Индекс 320. Издат. №3073.
Уполном. Главлита № Б-46773.
Заказ № 2497

Цена 3 р. 25 к.
Переплет 1 р. 50 к.

Фототипии
отпечатаны в фототипии
издательства «Искусство».
Москва, Варсанофьевский, 8.

Текст отпечатан в Полиграф-
техникуме, Дмитровский п., 9.



1788-1938